

БОЛЬШОЙ РУССКИЙ РОМАН

Lena Swann

Распечатки

прослушек интимных переговоров
и перлюстрации личной переписки

Том №1



Книга, которую из-за цензуры
побоялись издавать в России

F FOLIO

Lena Swann

**Распечатки прослушек интимных
переговоров и перлюстрации
личной переписки. Том 1**

«ОМІКО»

2015

Swann L.

Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки. Том 1 / L. Swann — «ОМІКО», 2015

Роман-Фуга. Роман-бегство. Рим, Венеция, Лазурный Берег Франции, Москва, Тель-Авив – это лишь в спешке перебираемые ноты лада. Ее знаменитый любовник ревнив до такой степени, что установил прослушку в ее квартиру. Но узнает ли он правду, своровав внешнюю «реальность»? Есть нечто, что поможет ей спастись бегством быстрее, чем частный джет-сет. В ее украденной рукописи – вся история бархатной революции 1988—1991-го. Аресты, обыски, подпольное движение сопротивления, протестные уличные акции, жестоко разгоняемые милицией, любовь, отчаянный поиск Бога. Личная история – как история эпохи, звучащая эхом к сегодняшней революции достоинства в Украине и борьбе за свободу в России.

Содержание

Глава 1	62
Глава 2	92
Конец ознакомительного фрагмента.	118

Lena Swann

Распечатки прослушек интимных переговоров и перлюстрации личной переписки в двух томах. Том 1

И кроме всего прочего, я подзадолбалась встречаться с тобою в отелях, любимый! Нет, это не причина, почему я вот сейчас вот не отвечаю тебе на эти вот твои звонки! Даже не мечтай. И – нет! – это даже не ответ на эти твои вчерашние му-му-му! Это я так просто – к слову пришлось, перед тем как пойти пописать. Тем не менее: под-за-дол-ба-лась!

А этот твой неисправимо провинциальный выбор гостиниц: по принципу, чтобы обязательно до тебя это место уже кто-нибудь из celebs засидел!

А этот промозглый Hotel des Bains на Лидо! Где ты заставил меня выживать сутки до твоего звонка! Причем с твоей стороны это ведь явно был крайний эстетский изыск! Ты же ведь явно рассчитывал страшно меня впечатлить, признайся, любезный? Вау-вау. Ну как же: мелкий бес когда-то сплавил сюда продукт собственной бездарной жизнедеятельности – немецкого писателя-мещанина-педрилу – на некрасивую педофильскую кинематографическую смерть (фуу-у, крашенный ус подтек). Действительно! Чего б тут ради этого не посидеть не помокнуть? Чего б тут, ради этого заодно, за компанию, не подохнуть от холода и влажности? Ради тебя, безукоризненного литературного и климатического дальтоника. Усипусик ты мой. Кстати, шел дождь, и лупило так, что уже непонятно было, с какой стороны: пустой пьяджо превратился в сияющую опрокинутую и отражающуюся самой же в себе лужу, в центре которой резвились и дурачились два шоколадных полуголых боксера: оба, едва завидев меня, подбежали поздороваться, радостно облюнявив мне колени и руки (нет, не спортсмены – собаки. Не ревнуй. Мало мне было мокро), а от меня наперегонки рванули к морю, при этом летящие их глицериновые слюни сверкали полуметровыми завитыми леденцами слева и справа по диагонали, а как только жилистые их голени достигли первой волны, дождь уже зримо полетел в обратный путь, к небу, а боксеры, сцепившись, и симметрично пытаясь сорвать зубами друг с друга эластичные насквозь мокрые, и наверняка неприятно ощущавшиеся на коже, красно-синие комбинезоны, как будто утирали мордами о подмышки друг друга брызги пота на ринге, пока их близорукая и явно еще и с какими-то осязательными расстройками заводчица, судя по возрасту – эмигрантка минус первого заезда, все пыталась дрожащими ручками настроить против ливня свою белую старческую парасольку, и все крутилась и метила, стараясь поймать волну ветра и взнудать его, но тот дурачился тоже, не позволяя на себе прокатиться, и посекундно менял все планы, и взбрыкивал, от чего парасоль вспархивала, и в самый разгар борьбы старушка, чисто случайно целившаяся в тот момент ровно в меня, вдруг не выдержала – и спустила тетиву, так что я едва увернулась от несшейся мне прямехонько в лицо распахнутой здоровенной стрелы с кокетливым мокрушным белым опереньем, а стрелявшая, ничуть не смутившись, и моментально забыв про улетевший зонт, вертелась дальше как волчок, размешивая песок лакированными, тонущими и мокро скрипящими, как чайная ложка в сахаре, белоснежными кубическими каблучками, и забористо кричала с милейшим старомосковским прононсом своим псам – единственным живым существам на целом пляже, которые понимали, о чем она: «Давайте пойдем покупать!», – и залиvisto хохотала.

Хорошо еще, что ей в руки не попались более крупные особи – солнечные зонты, которые нахохлено стояли, у запертых купальных кабинок, со связанными крыльями. Пришлось, от греха подальше, перебраться на соседний пляж – для паралитиков. Где смиренные обитатели реабилитационного центра под садистским надзором плоскогрудых медсестер в синих накрахмаленных формах послушно делали стационарные дыхательные упражнения на крытой

веранде, а редкие бунтари, чтобы избежать экзекуции, тихо окапывались по линии моря под черными безразмерными гулками от капель вороньими зонтами на своих двухколесых танках, в засадах на песке, или, кто пошустрее, на карачках делал вид, что срочно ищет у воды что-то крайне важное, забытое (безвозвратно утерянное) перед дождем. Нет, в фартуках были медсестры – а не инвалиды, догнал? В коротеньких таких, форменных передничках, и блузочках, с оборочками: словом, всё, как ты любишь, как буфетчицы. Сюсипусик ты мой. Ага. Что слышал. Шучу. На самом деле, они все, как на подбор, наоборот, были в длинных, консервативных льняных колоколах-юбищах, и бесформенных синих топах, а оборки вообще состригли, для строгости, чтоб тебя позлить. Короче. Понял? Любезный? Приём-приём? Мне надоело ждать твоих звонков где ни попадя, высиживать мобилу как дурное яйцо, пока ты, наконец, проклюнешься, и неправдоподобно бабским соскальзывающим из трубки в мое ухо голоском, каким-то ядовитым, обмазывающим изнутри ушное отверстие тембриком (ты ведь замечал, милый, катастрофическую разницу настроек: когда ты вполне удачно изображаешь крутяк на публике – или когда ты сюсюкаешь со мной по телефону, бездарно и безуха пытаешься войти в любовный раппóрт?) продиктуешь мне новый номер, на новую, присланную мне туда за несколько минут до этого с очередным твоим посыльным хмырем туземскую симкарту, пока они, эти сим-карты, обе еще «свежи», по твоей же корявой метонимии, потом экстренно упаковывать себя в аэропорт или автомобиль – и переезжать из одного отеля в другой, «доверенный», или в следующий, еще не слишком загаженный свиданиями город – или, доверяясь кому ни попадя, то есть хмырьку номер два и хмырюге номер три, названным мне тобой по телефону поименно (но, без сомнения, лживо), отправляться на снятую только что виллу или квартиру: «освежеванный свежачок» – как ты добавляешь сразу же после встречи, считая, что каламбуришь, потирая ручки, как муха, если все удалось. Подзадолбалась. Мне надоели эти передаточные звенья, которыми уже испохаблены полкарты Европы! Заманалась вставать на крыло по звонку: «эволюция позвоночных» – ох уж мне все эти твои поминутные смехухочки да прибауточки! Острословчик ты мой.

Как будто в издевку, когда я вернулась с пляжа на Лидо в гостиничный парк, единственной породой пса, который в тот день не кинулся мне навстречу, стал злющий бетонный дог, отлитый в натуральную величину с вкраплением подручного, вернее подножного, здесь же найденного (гравий-гипс-грязь), материала, и, видимо, с натуральной душой прототипа: с истеричными глазами энтузиаста, готового стерпеть и одобрить все уродства заводчика – включая удар ботинком в поддых – с отбитыми ушами и вечнозеленой слезой под правым глазом: зверь чем-то напомнил мне твою жену. Слепок пороков хозяина, в бетоне.

Я даже не решилась пройти рядом с мемориальной псятиной по дорожке. С морды дога трагично стекала лава дождя. А огибая его круголями, прохаживаясь по пухлой и пружинистой от палых игл пахучей подложке земли, я наткнулась между соснами на мертвого пестрого скворца кричащей красоты – иссиня черного в прямом смысле материала: пропитанного чернильной переливающейся морской ночной чернотой (видимо, чтобы зримо контрастировать даже с цветом жирного, тепло дышашего, только что завезенного с материка чернозема на пашне клумбы неподалеку) – он расставил крылья, как будто напряженно силился прикрыть под собою что-то, а сверкающим от дождя золотым мертвым клювом уперся, зацепился за землю, и не давал мне уйти – всеми этими роскошными, сливочными крапинками на спине и на капюшоне (гамма горностая в негативе), и каким-то загадочным, заставлявшим выть от восторга, фиолетовым подтекстом на воротнике с боков, как будто намекавшим, что под черным он одет в яркую пурпурную мантию. Мне стало неловко, что я так бесстыдно его, мертвого, рассматриваю. Но живая его красота завораживала. Он лежал как сокровище. Валялся. Невозможно было поверить, что я последнее на земле существо, которое видит его совершенство. Казалось, что поскольку его так обильно поливают дождем, завтра он должен прорасти вот прямо вот здесь, в сердце парка, и распуститься сияющими неземными цветами. Но на зав-

тра его просто убрал садовник – юный, непонятно каким фокусом загорелый при такой погоде (может – по наследству?) сорванец со вздутыми бицепсами, выпиравшими как нарост из-под обрызганных, со сталактитами ниток, модно обрезанных в минус (похоже, ножом) рукавов белой футболки, удравший с Мурано, не желая быть стеклодувом в двадцать первом поколении, – при мне аккуратно подобрал дохлого скворца лопаткой и увез куда-то на одноколесой, голубой, шепотом перебиравшей гравий тачке вместе с сорванными вчерашним ливнем еще свежими листьями и переломанными сажевыми ветками крыльями.

Скажи мне: и вот неужели, по твоим расчетам, все эти мои муки стоили того, чтобы потом по звонку укатить на дизельной бздюшке-вапоретто на Санту Лючию – а там перевалить на катер рекомендованного тобой по телефону и даже не рассмотренного мною как следует (из-за тумана, гари и вони Un Grande Gabinetto – как перевозчик тут же поспешил презабавным контральто перефразировать и трактовать название и аромат Canal Grande), кажется, специально подобранного тобой блеклого, со стертым лицом, безопасного чесса (ты всегда страхуешься от конкуренции наверняка), чтобы через несколько минут меня сгрузили в пошлейший, снятый тобой на подставное имя, палевый палаццо в подтёках, где пестрый волнистый шелковый в лиловых тонах плед как бы случайно сползал с колоннады балкона прямо в мусорную воду канала, анонсируя очередной закат от Missoni? (Спец-эффект, подстроенный тобой по мотивам глянцевого журнала, которые попрыгунчик-пилот регулярно подсовывает тебе вместе с флакончиками модного блевотного парфюма в сортир в джет-сэте: бессовестная скрытая реклама, рассчитанная на твои запоры.)

Да, да, чуть было не забыла! Чуть было не забыла тебе припомнить (ты не возражаешь, если я так выражусь, любимый?). Так вот: отдельный счет тебе будет, без сомнения, выставлен в ходе Giudizio Finale за кошмарную парочку крошёных серых гипсовых львов по бокам балкона, прирученных и выдрессированных на местной, венецианской, керамической фабрике до оскорбительных почти карманных, сумочных, ливреточных, содержаночьих размеров – которых ты распорядился рассадить по углам балкона – для пущей убедительности! Штампованные уродцы. Которые визуально терзали и мучили меня пуще, чем некогда их крупные прародители клыками новообращенную братву в Колизее.

И все это для того, чтобы чуть позже, ночью, сидя напротив меня на жесткой и колкой персидской подушке в гондоле (древняя скрипка моря, залакированная до смуглого скрипа дек, с неуклюжим смычком и разодетым поповым негодяем, смычком гребущим) без маски, ты вдруг начал ревниво цопать меня за запястье шуйцы, взбесившись, когда смазливый жиголо-гондольер, покончив с традиционными шепотками ти-амо, томно пообещал мне, что как только мы заплывем под мост, он сразу же покажет мне джибиджано! «А теперь джентльмен всем своим весом налево – ну же! – а то не пройдем! а сеньорита... – уу-у-у...» И честно говоря, мой милый: лучше, чем джибиджано, которое он мне там под мостом тайком показал, – пока свингующая гондола царапала кованым носом звучно капающий кирпичный испод с испариной, – у тебя вряд ли когда-либо найдется мне что-нибудь предъявить. Хоть вот ты сейчас поперхнись там от зависти этим итальянским словарем, который ты наверняка уже взвизгнул секретарю, чтобы тебе – не-ми-и-е-длинно! – принесли.

А отель Luna Convento в Амальфи?! Меня сразу же должен был насторожить титул «конвенто»! Совсем уже докатился. Свидания в женском монастыре – в четыре звезды. Хорошо, пять, пять, не ной вот только сейчас снова! Кто и когда выгнал под зад коленом в мир, на внешний сквозняк, последних обитательниц? Сто лет назад? Двести? Нет, не то чтобы тебе уж так уж приспичило переспать в келье! Было бы странно подумать, что ты просто решил распугать души монашек. Чисто для конспирации, ага, конечно, так я тебе и поверила! Дорогой мой: тебя же считать – как два пальца об асфальт! Все твои нехитрые мотивировочки! Достаточно было увидеть выражение твоего личика, когда ты, несмотря на мои отчаянные протесты, умудрился втиснуть свой автограф прямо перед росписью Муссолини в книге почетных гостей

отеля – пока я отвлекала внимание (а что уже было делать? Не попадаться же вместе с тобой!) ночного портье, гордого гражданина Первой Республики Маринада и Лимонада, дарившего мне байки о том, как сам вдохновенный фианат Франческо Бернардоне из Ассизи прискакал сюда к амальфитанам босиком, на своем капризном брате-осле, благословлять сестричек свить обитель в тысячу двести – каком? простите, по *carito* – я не расслышала – додичи? – едючи? На ночь глядучи? Венти? Лятор? Дует? Вы не могли бы поконкретнее? А не пальцы обгорелые загибать и выпрастывать дуплетом на уно-дуэ-дуэ-дуэ – как будто компьютерный код какой-то только из двоек и единиц. Каком-каком?! – да убери же ты поскорее эту несчастную книгу с фашистскими росписями на место! И сгинь сам, пока тебя не засекали. Я еще удивляюсь, как ты не затребовал у служки – молчаливого южанина с каменистым засушливым неплодородным лицом – продать тебе простыню и наволочку «от Дуче», а удовлетворился лишь тем, что снял для нас на ночь смотровую башню, где «развлекался и Бенито» (ох уж мне эти твои подзаборные побасенки, налипающие на слух, как помет в эфире!), и с разбегу плюхнулся прямо в твоих этих идиотских духоподъемных ботинках с пятисантиметровыми замаскированными каблучками на «ту самую! Представляешь! Ту самую же!» кровать. Несчастный ты мой инвалидик отражения и халявной эксплуатации чужих брендов. Ты уже настолько не уверен в собственном вкусе, любимый, уже настолько изломал его своей безграничной гибкостью, локацией и подстраиванием под тех, кто тебе может быть выгоден по бизнесу (а кто ж его знает? кто завтра будет выгоден? Надо ж на всякий случай подмахивать под всякого-каждого! Пока не убьешь), что теперь уж ты, кажется, и вообще не убежден, а есть ли он у тебя, этот вкус? Жарко-холодно? Блевотно-вкусно? Вонь-Аромат? Главное, никогда и ничего не ругать – и ни к чему прямо не высказывать отношения – правда ведь? – потому что вдруг потенциально полезному человеку как раз этот душок и нравится, ага? И главное: ни к чему горячо – ко всему чуть тепленько. Гладенько. Ну, разве что за исключением редких ценимых вещей, типа меня, которые, ты боишься, у тебя вот щаз вот кто-то отнимет. Тут уж хватательный рефлекс отомрет у тебя последним. Даже в случае полного паралика. А так – нейтральненько. Аккуратненько. «А мне все нравится». И все не нравится. И все никак. И все славненько. От одного черпнул – от второго черпнул – третьему перелил. Чтоб никого из твоих дружков не оскорбить ничем выдающимся. Шарм гениальной усредненности. Шрам, милоч, – а тебе что слышалось? Я тебе давно говорила, что твоя страсть к статистике и зазубриванию наизусть среднестатистических данных – чтобы блеснуть цифрами перед идиотами – до добра тебя не доведет. Тебе все кажется, все теплится еще где-то в сощурившемся дверном глазке твоего уже начавшего тайком лысеть затылка мечта, что это ж не навечно же, что это ж ты ж в это играешь, притворяешься, ну так, типа, для эффективности, а как только можно будет – так сразу же заживешь наконец по-настоящему – но в реале ты уже почти неизлечим. Впрочем, тьфу на тебя. Чего это я опять разошлась-то, а?! И пожалуй даже не буду вот сейчас вот припоминать тебе того изжаренного морского карася, которого тебе принесли в номер в этой раскаленной амальфитанской *albergo* на золотом продолговатом помятом подносе с игривой белой бумажной гвоздичкой в страдальчески разорванном рту, перед самым закатом, в тот самый момент, когда задернутые твоей рукой легкие шелковые занавески окрасили мелованные стены кельи в гранат.

Уж мелочи, сущие мелочи по сравнению с итальяскими моими мартириями – то позорное представление, в которое превратилась последняя поездка на *Cote d'Azur*. Разумеется, твоей фантазии хватило исключительно на то, чтобы забить мне стрелку в отеле Негреско, в этом расхожем притончике, с целлюлитной цветной бабой в фойе (скульптуру я имею в виду, а не консержку, расслабься, любимый), словом, на объекте, уже практически приватизированном девушками подразорившихся олигов – из любви, вероятно, к куполам как змеиные яйца, выделанным из их же (змеиных же) кож же.

Я и так-то раньше Ниццу недолюбливала: дохлый миф, который все давно уже забыли про что. Если не считать кулинарного цветового гипноза зефира крем-брюле декораций на

ком» – двух дней ведь не проживет, ага? – ты ведь совсем расстроишься, правда ведь? Ты ведь обозлишься на него, ты ведь расценишь это как оскорбление, правда? А если тебя обзовут «архиподонком» – то ты ведь наоборот сочтешь это за исторический комплимент, за лестные параллели, и за аванс, до которого тебе еще расти и расти? Правда ведь? А? Любимый? Вот загадка, а! Приём-приём? Только вот не надо вот сейчас опять обижаться, раньше времени, договорились, ага? Это я ни к чему-то. Просто так, à propos. В смысле: перед тем, как пойти пописать. И не пиликай мне тут больше на моем мобильном, хотя бы пока я до туалета добегу. Догнал?

The Voice Document has been recorded
from 17:24 till 18:07 on 18th of April 2014.

В сортире, хотя бы, надеюсь, ты меня не прослушиваешь?! Ась? Что-что? Вижу, вижу уже твои бархатные изумленные глазки, любимый! Что слышал, любимый: надеюсь, говорю, что твои пацаны мне хотя бы в сортир жучков не напихали! «Откуда она знает?!» – ты сейчас наверняка подумал. А потому что не надо было рассказывать мне, шкодливо хихикая, как ты подловил своего кореша, послав спецов протереть амальгаму зеркала напротив его кровати и вставить в зеркало микро-камеру. А уж когда, после отвратительной бессонной ночи, проведенной мною в античной (гнилые смуглые сосновые балки вместо потолка) конспиративной двухэтажной квартире на абрикосовой Via Urbana в Риме (нет, не совсем абрикосовой – некоторые дома как урюк, а другие как курага – словом, абрикосы разной степени жухлости, сушёности и шершавости) – куда ты смог приехать только под утро – и, внезапно выдав себя (ох уж эти твои мозговые перегрузочки!), пошутил над неким моим, почти молитвенным, жестом, который я случайно воспроизвела в квартире этой перед (чудовищной безвкусы – вот не надо ныть мне сейчас опять, про то, какого оно века, и сколько ты за этот век заплатил!) овальным бронзовым зеркалом – жест воспроизвела без тебя, еще до твоего приезда – милый, ну надо уж совесть знать – ты как-нибудь уж мозги в катушку собери! У тебя, похоже, вся жизнь уже в башке представляется – как компьютерная игра – здесь прокрутить назад, здесь чуть-чуть смонтировать – и О'к! Нет, не О'к, любимый!

Ох уж эта мне твоя патологическая ревность, ох уж мне эта твоя больная паранойя! И – главное – дебиловатая эта твоя уверенность, что подслушав, подследив, узнав, когда человек ходит в сортир, когда и с кем встречается – выведав всю внешнюю (в общем-то, не важную! Поверь мне!) жизнедеятельность – ты можешь человека понять. Кретин.

Нет, милый, не пугайся – здесь, в Москве, жучков твоих я у себя в квартире еще не нашла. Вернее – нет, нашла вчера, одного – в классическом шпионском месте – на потолке, возле люстры – и чуть не прибила (из-за тебя, любимый!) невиннейшего шустрого короода.

Но даже не за это, любимый! Не фантазируй – и не играй с собой в поддавки: даже не за это!

Та-а-ак! Опять загундел! I once had a girl ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла! Хорошо я еще сообразила специальный ринг-тон поставить для твоих звонков с твоего секретного мобильного – чтоб лишний раз с дивана не вставать! Or should I say – ла-ла-ла-ла! Фиг тут с тобой пописаешь сходишь даже. Слишком бизи-бизи, из-за брани. Это ж надо ж – а?! – так завести меня опять! Тьфу. Вот не буду подходить к телефону! Сгинь! Вот лежи там и пиликай на ковре. Зареклась ж ведь уже сегодня под утро! Никаких с тобой переговоров! Да-да, буквально как с террористом – и не отвечать тебе больше ни на какие эти твои идиотские вопросы. Ни по смс, ни по телефону! А то – ишь ты! Ишь ты?! «Му-му-му?». Совсем оборзел: сначала сделает – а потом начинаются «за что?» да «му-му-му?». Нет, конечно, не за то, что в том гнилом (ах, прости, – обозналась веком! – «стильном»!) Уж не знаешь, как выворочно, двойным глухим просчетом, потрафить моему вкусу!) венецианском палаццо, ты заставил меня жарить тебе бекон на завтрак! Нашел, тоже мне, прелестный способ наладить спозаранку интим со мной, веганкой, кре-

тин. Ах, подумайте! Он так устал – он так захотел почувствовать себя «простым, нормальным»! Ай-яй-яй-яй-яй! Ишь ты!?! «Хочу быть хоть на часик как все! – Бекон на завтрак! Баба, жар, дым, кухня». А ты и есть как все. Тебе и притворяться не надо. Нормал Нормалович Нормалютин. И бекон, корчащийся ради тебя на заскорузлой сковородке. На нездорово чистой, надраенной и нагламуренной угольной плите – какого? Какого века? Как эта закопченнная цифра сбоку на табличке читается? Seduci? Стоючи? Или Судичи? Ага. Sedicesimo. Трупожор. Но – нет, даже и не мечтай – не за это! И даже (я подчеркиваю: даже!) не за то, что когда оскорбительный для меня, веганки, запах жареной плоти разнесся по коридору, ты моментально спрыгнул с постели, сиганул как школьник по перилам на сатиновом заду в микки-маусах на первый этаж, всунул голову в кухню и радостно сюсюкнул:

– Солнышко мое! А ты ведь напрасно притворялась, что не умеешь готовить! Аромат-то какой! Можешь же ведь – когда захочешь! Из любви к ближнему: то бишь ко мне!

Козел. Недалекий.

И если б не та толстопузая ящерица, что по ошибке забежав в оживший ярус, проутюжила по подоконнику и всунула острую морду меж створок кухонного окна – а, увидев меня, в ужасе обморочно закатила глаза, отвесила челюсть и задышала с театральным испугом, – а после, через паузу, с очаровательной натужной сценической задержкой, с раскачкой, пустилась, бросилась, брызнула, дернула наутек, неуклюже унося свое противопожарное тельце куда-то вниз, к воде, к плесневой и трухлявой лодочной коновязи и утробным щелям здания, расточительно тратя драгоценное время бегства на ортопедические зигзаги и виражи, вырезая килем на облупленной как луковица стене крутые пузеля – так вот если бы не эта опереточная тварь – я бы сбежала в ту же секунду – даже бросив тебе как хвост мой бедный лэптоп, нагло захваченный тобой в заложники и запертый в верхнем выдвижном ящике спального комода – старинного заводика по производству трухи, которая у меня, верней, у него, до сих пор свербит в пазухах клавиатуры.

Да, милый. Извини. Именно мимика этого полуодомашненного дракона, к счастью, улизнувшего с подоконника за вздох до того, как ты вскользнул в кухню, дала тебе повод приписать (впрочем, как всегда) мою улыбку твоему юморку:

– Над чем ты смеешься, солнце мое? Смешные у меня мышатки, да?

Обхохочешься, любезный.

А все эти твои штучки и экспромтики-заготовочки?! Все эти твои потуги потрафить моему вкусу (увы, в твоей же интерпретации), типа, в порядке компенсации за все мои (а)моральные увечья – как в тот раз, уже перед самым отъездом из Венеции: притаранить меня на островок Святой Елены и попросить с зажмуренными глазами (ты, вероятно, ожидал, что я буду визжать от счастья уже от одного этого предложения – на диком контрасте с твоими обычными мещанскими офертами) пробежаться рядом с тобой насквозь – к порту, туда, где квакали подкаски-чайки, комментируя скоропостижное похолодание, и мнились уже мачты за задернутыми белыми кулисами.

– А здесь, внимание, вниз, ступеньки-пеньки-пень-ки-пень-ки-пеньки!

Носом в лживый свежестыраный околевший парус (панталоны снимите с лица, пожалуйста) – чтобы вдруг, разом выбравшись из сырых коммунально-семейных пут бечевы и лесок для белья в чьем-то заднем дворе, услышать твое идиотское самодовольно-сырное: «Сюрпри-и-и-з!» – и прозреть перед стеной текстуры жухлых цукатов.

– Ты на указатель-то позырь! Это ж лица твоего дня рождения! Как это читается? Во-во! Я и говорю! Венти... Как это читается?!

Не канает, милый.

Не канает, даже несмотря на то, что на полпути в аэропорт, на катере, тщетно пытаюсь зачерпнуть хоть пригоршню солнечного света из-под вконец сквасившихся и провисших как бельё с той же веревки и уже даже начинающих в строгом соответствии с образом подкапывать

венецианских небес, пока соленые брызги из-под киля прожигали дыры в ладонях на сверлящим ветру, я вдруг почувствовала, что та стена – скорее, текстуры моих цыпок в детстве. Аллергия на холод и ветер, с рождения. Но лучше умру, чем соглашусь мазать руки гусиным жиром – «для защиты» – как мне на днях прописал мой швейцарский аллерголог доктор Цвиллингер! Только вот не надо вот сейчас, любимый, опять делать недобрую стойку и спрашивать меня с интонацией, как будто ты никогда прежде об этом не заикался, и как будто ты никак не можешь припомнить его фамилию:

– А какие у тебя все-таки отношения с этим Цугцвангером? А? Солнце мое? Ты что-то от меня скрываешь? Я хочу, чтобы ты была со мной кристально честна!

И не надо вот шмыгать опять своими мышатками в башке по кругу: «Что я не так сделал? Может, в отеле все-таки лучше?» – или «В чем прокол?» – или, по второму заезду: «Может, в отеле лучше?» Уйми мышат. Нет, в отеле не лучше. Особенно под этот твой неизбежно уездный, голодранский карамельный вздох: «Ах, знаешь, я так люблю быть в гостиницах за границей: можно бросить полотенце где хочешь, хоть на пол! И сразу уехать и больше никогда сюда не возвращаться!» Сколько еще лет зоологической роскоши тебе потребуется – чтобы ты излечился наконец от плебейских ухваток? Вытереть отработанным жестом ботинки о занавески перед отъездом. И визгливо запретить мне споласкивать за собой чашку в номере («Им деньги за это платят! Пусть отрабатывают!»)

И к тому же – мне уже искренне надоело показывать тебе в темноте в отеле на ночь Геденовы фокусы (ага, дорогой: горшки с огнем раскалывать в кромешной ночи в стане опупевшего от внезапного света врага), выдергивая ящик из тумбочки на спор: «Угадай, что я сейчас оттуда достану?» – и видеть каждый раз твое неподдельное суеверное изумление и испуг: «А откуда ты знала, что *эта книга* там лежит?»

Ага, милый. Телепатия. Прямо как у той притырошной в Ницце, с рулеткой. Я тебя давно предупреждала: конспирологические супертехники тебя до добра не доведут. У тебя давно уже клиповое сознание. И часто смаргивающая оперативная память. Забываешь, что было в предыдущей серии. «Чтобы не грузиться, и часто избавляться от балласта» – кажется, так ты мне это объяснял, да? Короче, чтоб самому не замечать, кому-то соврал, и чтоб быстро забывать ошибки – правда, любимый? Чтобы все было безопасненько. И короткометражненько. Как и все твои анализы (анализы ситуации, я имею в виду, а не те, которые брал у тебя очередной московский модный доктор, подбирая тебе диету: белки-жиры-углеводороды – чтоб катастрофически не росло пузо от чрезмерности числа в день архиважных архибизнесовых ужинов: какой город мира еще не выеден тобой насквозь?). Как и все твои политические прогнозики. Шустренькие. Но никогда не выскакивающие из фрэйминга мелкого клипа. Как бы ты ни тянулся встать на цыпочки или на лживые закамуфлированные каблучки. Один клипик у тебя в голове судорожно клеится к другому. Жизнь, как цепь роликов. Клипса. Нарезка. И ты никогда не увидишь смысл фильма целиком. Просто потому, что наличие смысла в мире ты отрицаешь. Если, конечно, не считать (заигранной тобой напрокат у кого-то из дружков по бизнесу) безмозглой, но лихой фразочки об «энтропии», «экспансии, как смысле жизни» и «самоорганизации системы» – словечках, удобно вмещающих все твои жизненные перепонки без остатка – просто потому, что под системой ты всегда подразумеваешь свою.

Так, любимый: вот скажи сейчас быстро и как на духу: что вот там опять сейчас шуркнуло у тебя в мозгу? А? В какую лузу забился шарик от твоего очередного молниеносного заезда мышинных бегов? А? Что я тебе, типа, готовлюсь, объявить, что есть «другой»? А? Мужчины! Разумеется! Еще опции? Любимый? Женщины? Ну, конечно! Без сомнения! Твои ведь тропинки бегства и брызг мышек мыслей отслеживаются на раз. Размер их имеет, увы, значение и соответствует их шустренькой скорости. В какой привычный тупичок рванули и занесли тебя твои мышата?

Нет, а мне, думаешь, приятно больше месяца уже врать тебе, что у меня – сильнейшая аллергия, и встретиться с тобой я ну никак не могу – из-за внешнего вида?! И не надо вот сейчас опять ревниво острить, обзывая моего швейцарского аллерголога Цугундером! А уж после твоей наглой клеветы – что ты, мол, «по своим каналам» (ох уж мне эти твои каналы!) якобы разузнал, что Цвиллингер переехал в Швейцарию только из-за того, что его лишили практики в Нью-Йорке – за харассмент восьмидесятилетней жены твоего знакомого миллиардера – ни на какие твои больше вопросы про мои с ним отношения я вообще отвечать не намерена. Аллерголог как аллерголог. Цвиллингер мне тут сказал, кстати, в начале недели, по телефону (мониторит мое состояние, любезный, а не свидание назначает – перестань делать этот злобный ревнивый кварцевый свёрк в глазах): «Не надо, – говорит, – стесняться своей аллергии. В каком-то смысле, – говорит, – если перевести термин «аллергия» на простой язык – аллергия ведь попросту значит: «Мне очень противно!»» «Бог, – говорит, – в каком-то смысле ведь – Великий Аллергик. Вся историю цивилизации, – говорит, – Бог только и делал, что пытался – и почти безуспешно – привить избранным людям здоровую брезгливость и аллергию».

Пошловат, но не глуп, этот мой аллерголог. А? Как ты считаешь, любимый? Впрочем – плевать мне на твои счеты. Надеюсь, что здесь, в сортире, ты меня хотя бы только прослушиваешь – а не просматриваешь.

Я вот даже не желаю тебе сейчас объяснять всех рефлексий и реминисценций, но в любом сортире, особенно в таком малогабаритном, пещерном почти, как мой (терпимый налог на удовольствие жизни в старинном незагламуренном доме в центре Москвы), всегда почему-то – вот каждый раз! – вспоминаю о царе Давиде – в том возрасте, пока он еще не был царем. Не смехи мышат только. Не делай ревнивую стойку сейчас вот опять, будь любезен! Тем более, что уродливому мощному языческому микеланджеловскому Давиду (предмет твоей вечной зависти – стати которого пристали скорее дебелому антигерою Голиафу) я всегда предпочитала Веррокиевского, мелкого, низенького, чуть женственного, кудрявого, плюгавенького. Ханырик с рогаткой. Вовремя предавшийся синергии. И победивший не своей силой. Но... Другое. Совсем другое видится мне каждый раз в сортире. Царь Саул – мелкий убийца, завистник («пригвозжу как я Давида копьем к стене – а то он что-то чересчур хорошо поет и играет – а это меня, бездарного царя, раздражает как-то»), параноик и предатель – зашедший, по большой нужде, в пещеру, где, с ветхозаветным юмором, прячется преследуемый им Давид. Давид, из благородства щадящий беззащитного какающего царственного убийцу, и потихоньку, в доказательство своей честности, отсекающий лишь крайнюю ткань у подола одежд Саула. И потом (когда Саул уже оправился – и вымелся вон из пещеры) – пляшущий сорванец Давид, машущий лоскутком отрезанной ткани, щеголяющий, на расстоянии, своей милостивостью. Береги, мол, подол. Мой сакын в тумане светит.

Ты смотри-ка! А? Стемнело уже! По крайней мере, в моем лэптопе! Сколько я тут с тобой уже проваландалась-то, а! И пять непринятых звонков. И главное – вечное мое дурацкое желание подстраховаться из-за больной этой твоей ревности! Как же ты достал-то меня, а! Со своими му-му-му! Что я с тобой миндальничаю-то опять, а? Вместо того чтобы плюнуть и немедленно, уже просто срочно, сбежать в туалет, пописать – и взяться, наконец, за работу. Мне уже днем текст книги надо было отправить на правку. А этот твой вечный ревнивый гугнёж: «ну-что-ты-там-пишешь-ну-дай-почитать»?! Мне иногда кажется, любимый, что к лэптопу ты меня, на самом-то деле, ревнуешь больше всего – нет, чесслово, мне иногда просто страшно, что ты его у меня как-нибудь выкрадешь! Любознательный ты мой.

Нет, это ж надо меня так разозлить опять, а?! Зареклась же ведь... Разозлилась так, что даже ни в какой туалет, ни для какого «пописать», совсем не хочется – с дивана вон, даже, и не вставала!

А этот твой гугнёж, чтобы я нашла себе квартиру «поприличнее» и переехала куда-нибудь из «разваливающегося», на твой взгляд, дома (то есть из не перестроенного, под твой

вкус, под евро-азиатский гламур), с замызганными бесконечными коридорами! А эти твои вороватые визиты сюда («Нет, солнышко, ты не права, все-таки за границей встречаться спокойнее!») – краткие, как латинская гласная перед гласной! А эти твои охранники, ошивающиеся во время визитов твоих на лестничной клетке снаружи перед дверью, стремя соседок, и доходчиво изображающие, что воруют окурки из-под линолеума! За-дол-ба-лась!

Та-а-ак! Еще мне не хватало! Skype трезвонит теперь – ох уж эта мне твоя ловкость, ох уж это мне твое шустренькое радостное двурушничество, когда прямо под носом у этой твоей несчастной, в утиной юбке, с выпученными глазами, – ты на бешеной скорости успеваешь скидывать мне эсэмэски – колотя буквы с нечеловеческой вертлявостью, – так, чтобы эта твоя, несчастная, не могла, из-за плеча, подсмотреть. Но звонки в Skype – середь бела дня – вернее, середь черного вечера, это что-то новенькое! У тебя что – перерыв в диете званого ужина? Белки-жиры-углеводороды? Со смартфона из тубзика, небось, звонишь? Отойдя от сладострастия жратвы архиважных партнеров? Вот не буду отвечать – хоть ты оборись там!

А... Извини, извини, в первый раз за сегодняшний день – я не права: это не ты. Но отвечать все равно не буду. Что ты там, любимый, в последний раз мне трюндил: что Skype, де, прослушивать и считывать труднее, чем ICQ? Надеюсь, что ты не соврал, как всегда, по своей привычке. Надеюсь, что ты хотя бы мой трёп с подружками не перлюстрируешь, а? Любимый?

The Voice Document has been recorded
from 18:08 till 19:20 on 18th of April 2014.

LENA SWANN – LADY GREY's —

SKYPE chat session, started at 19:21 on 18th of April 2014.

LADY GREY: Ленк, ну может хватит уже?! Сколько ты со мной уже не разговариваешь? Два месяца уже скоро. Что за глупость! Включи видео!

LENA SWANN: Нет, вот ты мне объясни, ну и чем тебе мешал этот индюк?! Красными соплями?! Развесистыми? Чем он тебе мешал, несчастный?! Зачем ты его убила?

LADY GREY: Мы ж его не сами убили, клянусь! Мы его подарили священнику, – а батюшка уже зарезал его и приготовил его, и нас в гости на ужин на индюшатину позвал – и мы его съели. Ну, это естественный баланс сил в природе, в конце концов!

LENA SWANN: Никогда больше не приеду к тебе в гости.

LADY GREY: Ну, знаешь, Ленка, это тоже лицемерие. Ну хорошо, ты не жрешь мяса. Но ведь если б я индюшатину для себя в супермаркете купила и поджарила – то, значит, ты бы ко мне и дальше спокойно приезжала?!

LENA SWANN: Да он же к тебе в гости домой приходил! На веранду, пообщаться! Ручной! Такой красивый, с тесненной кожей. Зачем ты его тогда заводила, приручала, дружила с ним – если знала, что этим все кончится? Специально? Извращенка! А тот ручной поросенок, которого ты сначала называла «Бэйбом», потом «Васей», пускала домой, играла с ним, а потом отдала крестьянам убить?! Да еще пригласила друзей на холодец, чтобы всех помазать кровью! Хорошо – хочешь жрать трупы – купи в магазине. У нас что – голод? Крайняя нужда? Тебе что, есть нечего было – кроме этого индюка?! Кроме ручного? Кроме своего? С именем? Посмотрите на них: голодающие Рублёвки! А коня ты своего не хочешь, случайно, на колбасу пустить?

LADY GREY: Нет, друзей я не ем.

LENA SWANN: А может, ты еще – своих собак, как корейцы, жарить начнешь? Может, еще приторговывать ими начнешь? Или – ресторан откроешь? Собачьих отбивных? Какая разница – ручной, почти говорящий индюк – или собака?

LADY GREY: Ну, нашла что сравнивать – собаки все-таки умные, а индюки не очень.

LENA SWANN: Идиотов, значит, убивать и есть – не жалко. Хорошенькая фашистская логика.

LADY GREY: Слушай, в конце концов – так Боженька мир сотворил.

LENA SWANN: Боженька?! Ты утверждаешь, что это Боженька живодерни придумал?! Это Боженька, оказывается, ежедневный холокост животных придумал?! Это не более умно, извини, чем заявить, что и Гитлера тоже «Боженька» «придумал» и благословил, как «санитара леса» – чтобы очистить человечество от «неполноценных»! Еще скажи, что и Холокост был от Бога! А когда то же самое происходит с животными, с Божьими существами, наделенными умом, умеющими любить – причем гораздо более верно и бескорыстно, чем люди, – у тебя, почему-то, поднимается язык говорить, что это, оказывается, Боженька придумал их уничтожение! Причем жесточайшее!

LADY GREY: А кто же это все придумал, если не Боженька? Я просто имела в виду, что все, что мы видим вокруг в природе – все естественно, с этим надо смириться.

LENA SWANN: Нет уж, знаешь ли, «Боженька» никогда ни с чем «естественным» «смиряться» не призывал. «Боженька» всегда наоборот призывает побеждать «естественное» сверхъестественным!

LADY GREY: Ну как же?! Бог дал в пищу людям животных. Так ведь в Библии сказано? Сказал: убивайте и поедайте. Так ведь?

LENA SWANN: Нет уж, давай разберемся с этим враньем, раз и навсегда – с этим гнусным поклепом на «Боженьку»! Вот не поленюсь: встану вот даже с дивана – возьму Библию. Вот прямо сейчас открываю – сотворение неба и земли, первую часть Библии: вот, тебе, пожалуйста: что при сотворении земного мира установлено в пищу людям?! И зверям – тоже, кстати, заметь! «Трава и все семена ее, и всякий плод дерева». «И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам *сие* будет в пищу. А всем зверям земным, и всем птицам небесным, в которых душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу». Заметь: даже у диких, недоразвитых древних бродячих кочевых людей не повернулся язык в Торе сказать, что Бог, изначально, создавая мир, придумал и благословил убийства животных и пожирание их трупов! И только уже гораздо позже, уже после гнусного грехопадения, после изгнания из рая, после того, как земля уже проклята за грех людей и весь видимый земной мир катастрофически изменился, и смерть, как сатанинский атрибут, вошла в земной мир из-за грехопадения человека, – уже после того, как люди уже и друг друга-то начали убивать – сказано, что Бог «попустил» людям есть мясо. Но нигде – «благословил»! Ты не видишь критическую разницу между «попустил» и «благословил»?! Какой еще коровий СПИД, и куриный триппер, и свиной грипп надо придумать, чтобы люди поняли намек?! Какой еще рыбий рак нужно изобрести, чтобы люди перестали, наконец, устраивать всем животным вокруг ежедневный Освенцим?! А?! Это ведь уже только после грехопадения, проклятия и изгнания из Эдема, когда вся земля оказалась изуродованной и мутировавшей из-за злого выбора людей, и люди начали убивать и жрать животных, Богу пришлось, сквозь зубы, давать советы диетолога: что с чем есть – чтоб несчастные богоизбранные грешники хотя бы не траванились там трупами животных, и не подошли все до одного, на этой дикой жаре. Я вообще считаю, что все проблемы у богоизбранного народа начались, когда Бог им в пустыне скатерть-самобранку раскатывал и кормил вегетарианской манной досьята, а они начали воротить нос и орать: «Мяса! Хотим мяса! Дай нам мяса!»

LADY GREY: Да? И почему же Боженька тогда всего этого не прекращает, раз, по-твоему, на земле все так неправильно устроено?

LENA SWANN: А что бы ты делала на месте Бога? Ну представь себе на секундочку, что ты – суперпользователь, с супердоступом! Что бы ты делала?! Похерила бы все напалмом? Расфигачила бы всех раскаленной лавой? Со скринсейвером в воздухе «Game over»?! И длинными гудками в воздухе: «Абонент безвременно недоступен»? Видимо, Бог ждет каждого, чью душу можно спасти – из каждого века. Видимо, Бог не хочет людям ничего объяснять человеческим – то есть падшим – языком – с помощью насилия. И не хочет унижать людей отъятием у людей права на свободный выбор.

LADY GREY: Кстати, Христос тоже рыбку ел.

LENA SWANN: А ты замечала, кстати, что среди учеников, которых избрал Себе Христос, есть много рыбаков – но нет ни одного мясника?

LADY GREY: Да Христос наверняка и мясо ел! Христос ведь иудеем был – на Пасху-то иудейскую уж точно Христос барана вместе со всеми иудеями ел!

LENA SWANN: А что ты хотела? Чтобы Спаситель к убийцам и блудодеям сразу пришел с проповедью вегетарианства? Ты не находишь, что это было бы по меньшей мере так же странно, как начать уговаривать убийц, чтобы они «хотя бы» не прелюбодействовали? А блудодеям говорить, чтобы они «хотя бы» прекратили быть трупоедами? О каком вегетарианстве, о какой милости к незащитным животным можно было говорить с чокнутыми людьми, которые Спасителя упрекали в том, что Он не моет руки перед обедом?! Христос ел то, что было. То, что они Ему предлагали. Просто чтобы показать, что не в этом суть. И чтобы сразу говорить с людьми о главном. Христос, как ты помнишь, вообще мог сорок дней ничего не есть. Не в этом проблема. Не сомневаюсь – если уровень развития собеседников был бы выше, Христос бы сказал: пойдете в поле нарвем цветов в знак Пасхи! Или – еще лучше – посадим цветов. Лилий! А не барана заколем. Просто-напросто: Христос пришел спасти цивилизацию моральных уродов и людоедов. Люди были дикие, бессовестные, аморальные – жили по законам хуже животных. А ты хочешь, чтобы Христос этим недоразвитым дикарям милость к животным сразу проповедовал?! А соседние с евреями народы не только зверей – детей! – в жертву в то время приносили! И это было ежедневной узаконенной традицией! Это тоже, по-твоему, «Боженька благословил»?! Но сейчас-то же уже две тысячи лет прошло! Хотя бы минимальный прогресс в уровне людей должен быть?! Сейчас уж точно никто не может больше себя оправдывать тем, что без убийства животных «не выжить»! Уж сейчас-то еды вегетарианской – завались, не как в пустыне, и не как в древней Иудее! Сейчас-то все преспокойно могли бы без убийства животных пузо забить! А уж тем более – ручных, прирученных, доверяющих тебе животных! Как ты могла?! Извращенка! Я не могу до сих пор поверить, что ты его сожрала и не поперхнулась – и еще мне звонила хвастаться, жуя, по телефону!

LADY GREY: Хорошо, тогда приезжай – обсудим это с батюшкой. Может, хотя бы он тебе мозги вправит.

LENA SWANN: А пошли бы вы вместе с вашим батюшкой-живодером. Подельнички. Я бы вот не пошла к нему на исповедь – зная, что он этой самой рукой недавно зарезал ручного, живого, любящего тебя индюка. Вы, что, с голоду умирали?! Нет, вам просто позарез убить кого-нибудь незащитного не терпелось! Извращенцы.

User LENA SWANN went offline at 19:51 on 18th of April 2014.

А-ай ванц хэд а гёл... А вот это уже ты, любимый! Ла-ла-ла-ла... А я вот сейчас не полежусь – даже встану с дивана – вот так вот тебя! – мыском туфли пас в левый угол, по ковровину, моим бедным телефоном! С твоими непринятными звонками! Чтоб не сверкал тут и не вибрировал и не подмигивал. А-ай ванц хэд а гёл, ор шуд ай сэй...

Так я и думала: эсэмэсами теперь бомбить начал... Ла-ла-ла-ла... Нет, отчего ж, эсэмэску я прочитаю – мне даже интересно – как ты там изворачиваться сейчас начнешь! Нет, даже вот встану, не поленюсь и прочитаю. Если телефон, конечно, еще об стенку не разбился.

О-о-о! Любимый! Первая эсэмэска, как всегда, нагло-нетривиальна: «Ti gde?» Узнаю по почерку! Ох уж мне эта аутентичная, неподражаемая, блатная косноязыкая интонация, которую твоим посланиям придает латиница: Ти, типа, в натуре, где?

А главное – как будто ты мне этого вопроса за последние сутки ни разу в эсэмэсках не задавал. Зудит у тебя. Я здесь же, у себя дома, где и обещала тебе ждать твоего звонка. Но я же не обещала тебя на него отвечать, а, любимый?!

Надо же – вторая эсэмэска предлинная: видимо, ты и вправду запаниковал: как же – как же – сейчас и впрямь ускользнет адресат! Ну-ка, что ты тут насочинял, с перепугу?! «А

что ты вчера делал, мои дорогие? А ты тебе вчера звонил! Ты тебе вчера тзветочки посылал! А курьер сказал никому не открывай дверь! А ты почему двери не открыл, зайка?» Ух уж отрыгнутся тебе на страшном суде отдельной приговорной статьёй эти твои излюбленненькие уменьшительно-сюсюкающие, эти твои ласкательно-всё-оплевывающие словечки! Ох, припомнят тебе ангелы этих твоих «заек»! А эта еще твоя гундосая манерка в мужском родике меня называть! Ссыкун. Ага. Чтоб, если твоя эта несчастная, с выпученными глазами, в утиной юбке, через локоть случайно все-таки в смартфон прошпионит – или обрывок твоего разговора с мобилы подслушает – так чтоб алиби было. Действительно, чего б с мужиком-другом не посюсюкать? Ага. Лучше прослыть перед ней латентным гомиком – чем очередной скандал, правда ведь? А эта твоя маниакальная привычка переписываться со мной по ICQ, с несчастной этой рядом в кровати лёжачи (судя по времени ночи – уже который раз замечала!) – и набивая тексты записок мне с феноменальной подоночьей быстротой – и с такой же феноменальной быстротой их стирая: включив функцию «never save history» (Ну, конечно – главное же – ничего по большому счету не помнить! Или быстро забывать – правда, любимый?) на случай если эта несчастная с другой стороны пододеяльника все-таки подглядеть в экран твоего ноутбука извернется – над чем ты там, не жалея себя, ночь в глаза, работаешь.

А эта твоя чудовищная симуляция чудовищной травмы чудовищного же коленного мениска – когда на этом идиотском швейцарском горнолыжном склоне тебе надо было от жены (прости, конечно, за столь прямолинейное и старомодное в твоих глазах ее определение!), фальшиво от боли воя, сдригнуться, чтобы потом, после визита и ложного диагноза подкупленного врача, сослать ее кататься – а самому, заперев дом и бодро выскочив на верхнюю веранду, телефонировать мне со своей секретной мобилы в Москву – на выгодном фоне гор вместо мобильных ретрансляторов – просто потому что тебе приспичило мне немедленно хвастануть виражами! Ну ненавижу я горные лыжи, холод, снег, снежные окатыши под манжетами дутой куртки! Не-на-ви-жу! И не шалею от шале! Снег – это белая смерть! Не сахар, не соль, как внушает тебе очередной диетолог для похудения – а снег! И лучше сдохнуть было – чем согласиться на отвратительное твое предложение поселить меня в шале в стиле хай-тек на соседней горе (вау-вау – модное место со стеклянной срезанной стеной в три этажа – я простээй ташусь, любимый, правдуй, правдуй – а главное – сколько ты хозяину модернового домишки через своих парней бабла отвалил, чтобы его оттуда со склона ветром сдуло на недельку!) – чтоб ты туда-сюда, со склона на склон, от жены катался! Ага. Чудесные лыжи.

Ты сейчас заноешь, конечно: «Какие лыжи, какие такие лыжи, когда это было, припомнила, уж сколько месяцев прошло!» Нет, любимый – я не злопамятная – просто у меня, в отличие от тебя, память великолепная. Delete history не нажимается!

Нет, что ты в меня вцепился, чесслово, как клоп, а?! Что бы тебе не подобрать какую-нибудь, из этих, с силиконовой надутой куриной гузкой вместо губ – из тех, что оптом вывозит твой дальний знакомец на горнолыжные курорты на продажу или временный съём? Куда адекватней было б! Мне минутами кажется, что в твоём за меня цеплянии есть прям что-то фетишистское – с того момента, как ты, со своим вечным, посконным, почти бабским языческим суеверием (протез, вырастающий в том месте, где ампутирована вера) – заявил мне (польстить явно хотел – признайся!), что я для тебя «лучший талисман», и что с моим появлением в твоей жизни тебе «попёрло по бизнесу» – а в моменты, когда я пытаюсь от тебя уйти, «пруха пропадает». Как же меня угораздило влипнуть, а?! Да еще так надолго?! Ох уж мне все эти твои фальшиво-жалобные мне комплиментики, что я, мол, – слишком высокая, и что, мол, с высоты моего роста, мол, как раз невыгодно видны ранние твои проплешины, и что вокруг меня, мол, – вон, высокие красивые мужики, мол, выются – а ты, мол, всегда такой маленький-замученный-невыспавшийся-уставший, зачем, мол, ты мне такой нужен! А все эти твои расчетливо-жалкенькие, мелкой шрапнелью на жалость подло бьющие подвывания: мол, неужели ты, такой убогенький, мне и впредь, даже когда лысина зальет берега, всегда

будешь интересен? Ох уж мне эти твои паскуденские техники навязывания себя, в пожизненные кандалы! Вместе со всем бесплатным довеском в виде этой твоей, несчастной, в утиной юбке с разрезом! И вместе со всей этой твоей, извини за выражение, жизнью! А все эти твои лживо-правдолюбские: «Я люблю, когда ты меня ругаешь! Ругай меня – мне полезно, когда ты меня критикуешь!» – с циничнейшим расчетом (оправдывавшимся, увы, оправдывавшимся!) вызвать у меня почти-таки миссионерские мысли и комплексы жалости: «Ну да, действительно – кто ж тебе, иначе, как не я – всю правду про твою жизнь в лицо скажет – не эта ж твоя, несчастная, чесслово – с выпученными глазами! Действительно...»

А это твое самозабвенное циничное паразитирование! Все эти твои (с наивными глазами) вопросяки: «А что ты, мой золотой, думаешь о NN? Какой он, по-твоему, человек?» И – вдохновенное (или, вернее – со вздохом облегчения – когда я отвечаю, что NN – продажный беспринципный подонок) твое вечное: «Ты – моя рефлексия! Ты так хорошо людей чувствуешь!» И – на следующий день радостно отправляешь доверенных людей покупать NN – раз продажный, так почему еще на полке, почему еще не куплен!

А эта твоя прилежная симуляция интереса к моему кругу чтения! Как же – как же! Надо ж потом мимоходом блеснуть перед тупаками! Здесь черпнул – туда перелил – и главное не задерживаясь ни на чем чересчур ни мозгами – ни, извини за выражение, душой, наличие которой в тельце своем ты отрицаешь. Но как же ты любишь (из какого-то извращенного чувства тщеславия) поддерживать – среди тех всех кормящихся вокруг тебя именитых интеллектуалов (а на самом деле средненьких невзыскательных образованцев) – ни на чем внутреннем не основанный флёр, слух, бред, поверие – что ты, мол, человек, не лишенный того-то, и не далекий от того-то... Эта страстишка у тебя, пожалуй, посильнее многих других твоих оригинальнейших качеств!

А эта твоя клептоманская жажда выведать, что-таки я пишу в своем несчастном ноутбуке, запертом от тебя всегда на passcode из фразы на неизвестном тебе языке! Я даже подозреваю иногда (когда ты хищно и с ненавистью на этот запертый ящик пандоры поглядываешь), что как-нибудь ты, подослав очередных своих «доверенных», не просто выкрадешь его у меня – а, после того, как твои спецы не сумеют его взломать, – еще и в ярости растопчешь его – как символ твоей неспособности залезть в мои мысли – несмотря на прослушку квартиры.

Но – не за это, любимый! Не рассчитывай! Даже – не за это!

Фу, как безобразно ты разозлил меня опять – это ж надо ж, а! Казалось бы чего проще: мстительно назвать тебя по телефону «зайкой» и пропеть: good buy! Фу... Чаю, чаю, безусловно чаю! Хлебнуть холодного, бергамотового, вон, в бокале на столе осталось – чтоб перевести дух – и за работу, правку доделывать пора – а я тут с этими ну абсолютно не нужными мне разборками!

Что ж – судя по тому, что в эсэмэске ты навязчиво по-прежнему интересуешься «где я» – можно заключить, что ты или блефуешь, желая доказать мне, что никакой прослушки нет – и что ты меня и вправду, типа, потерял. Или – что прослушку тебе все-таки приносят с запозданием, и что ты и вправду занервничал. Судя по тому, что ты все еще не приперся ко мне сюда – и, наплевав на соседей и на конспирацию, не колошматишь в дверь – в городе тебя нет – улетел, с осинной скоростью, на какое-нибудь очередное срочное очное дельце в первую попавшуюся страну.

Нет, чаю, пожалуй, не буду – ну еще! Раскипачусь на тебя еще больше! Это ж надо ж! А! Цветочки он мне присылал! Отчета требует: что я делала! Что-то! Скажу! Только пеняй потом на себя, когда тебе распечатки принесут! Короче: вчера с самого утра Славика в гости ждала! Ну?! Что?! Съел?! Думаешь, я не припомню сейчас тебе моего любимого фиолетового пизанского бокальчика от Leonardo, в который я так любила сок апельсиновый себе жать – и который ты вот тут вот, с почерневшими от ревности и злости глазами, в прошлый раз раскрыл, сжав, в кулаке, когда я тебе описывала, какой Славик у меня красавец! Короче – догово-

рились со Славиком, еще с вечера, что утром он приедет ко мне. Ну, утро у нас со Славиком у обоих – понятие весьма относительное и растяжимое. Короче, проснулась я в полдень – Славик, разумеется, еще и ни сном ни духом, не звонил – ну, я пока проснулась, пока о том – о сем подумала – время бежит, чувствую: есть уже жутко хочется, а мы со Славиком позавтракать сходить вместе договорились. А тут уже – смотрю – какой позавтракать – обеда-то и то время давно прошло. И тут звонит мне, наоборот, Вова – и говорит: «Я сейчас как раз свободен – могу к вам заехать, я тут на Страстном, недалеко, у другого клиента». Я говорю: «Отлично, Вова, жду вас!» Короче, милый, когда твой тайный посыльный, с цветочками, в домофон звонил, а потом (подкупив, видать, какую-то доверчивую соседку, когда я в домофон не ответила) еще и в дверь мне пять минут копытом стучал – я ну никак не могла открыть. Потому что уж Вовик в этот момент – вот сейчас вот следи вот за собой, пожалуйста, держи себя в руках, будь любезен, любимый! – Д – Е – Л – А – Л – М – Н – Е – М – А – С – С – А – Ж! Уф. Выдохнула! Вот препарируй теперь информацию, как тебе вздумается – ненормальный. А то ишь ты! – эсэмэсить мне: «Pridyot chelovek ot menya, otkroi dver' – budet surpriz! Parol': «Mosgaz» – ага, вот оно! – зачитываю дословно, твое, вчерашнее! Я уже просто как только получила этот текст, уже сразу представила себе эти кошмарные дохлые гигантские позорные веники-икебанища с каким-то мезозойским укропом по краям и белыми шариками – как будто с кладбища отобрали! – которые от тебя обычно привозят! Я ведь сто раз тебя предупреждала: я ненавижу мертвые цветы! В смысле, срезанные. И эта жатая бумага экзотических желчных красок с кошмарным кокетливым абажурным загибом – в точности как эта, твоя, несчастная, юбки носит. Короче: дверь мы с Вовиком не-от-кры-ли.

А Вован, кстати, параноик, почище тебя оказался: едва увидел мои локти и предплечья, ка-а-ак заорет:

– Это что за синяки, Лена?! Вы мне – что – изменяли?!

В смысле, что я к другому массажисту ходила.

А я ему и объясняю – (как и тебе, в точности, больной!):

– Вова, – говорю, – уймитесь! Я вам сто раз говорила, что у меня суперчувствительная кожа! А это ко мне Мила, домработница, приходила окна мыть. В смысле окно, потому что, как видите, Вова, – говорю, – оно у меня одно, но огромное. И я ей помогала. Вам еще, – говорю, – Вова, сильно сэкономило нервную систему, что вы меня не видите, когда я на сёрфинге катаюсь! Знаете, когда падаешь в воду, а потом снова на доску забираешься: колени, бедра, локти – короче я после этого, – говорю, – вообще как леопард!

И тут Вова мне уже таким тихим совсем, безнадежным голосом:

– Что вы мне, Лена, про сёрфинг-то все заливаете? Синяки, говорю, откуда? Под задницей-то у вас, вон, тоже синяки! Вы чем, интересно, окно мыли? Небось, к этому мелкому чекотило на массаж ходили в салон красоты на другой стороне Тверской? Признавайтесь.

Я в ответ ему уже почти кричу, потому что достали вы меня оба уже:

– Ми-ла! Ми-ла! Окно-о мы-ла! А она у меня низенькая. Ну и пришлось мне ей помогать... На раму локтями опиралась! Ну и потом пришлось на раму сесть и вылезти наружу, на карниз – чтобы верхние секции окна с внешней стороны отмыть! Ясно, да?!

А Вова, такой, ревниво на окно оборачивается – проверяет, типа, не наврала ли я ему – и ехидничает:

– Что-то чистоты-то особой не видно!

– А вы бы, – говорю, – еще попозже заявились! Мила в прошлое воскресенье была – а сейчас у нас что? Четверг! Конечно – сквозь стекло уже вообще еле видно. Грязюка же здесь на улице в воздухе! Лет десять как будто его не мыли!

Еле удержалась, любимый, чесслово, чтоб глупо про кенозис не сострить.

Ну, Вова тут, вроде, слегка успокоился. И тут уже, чтобы нокаутировать этого Вована с его допросами, я строго ему так:

– Только, Вова, не вздумайте меня опять мазать этим кошмарным фито-маслом, как в прошлый раз – я два дня потом из-за запаха этого чихала!

Вова сразу, такой, притих как зайчик:

– Лена, ну что вы, что вы – я с вами работаю теперь только по сухому. Понял-понял.

А я знаю его эти «по сухому»! Как шваркнет – полбедрища снесет! Превосходно его знаю! Лежу и думаю себе: ну, точно, сейчас шваркать начнет, с досады.

Я и говорю:

– Вова... Умоляю: сосредоточьтесь и не шваркайте! Вы всегда вот вначале такой позитивный – а потом как заболтаетесь – и швварк! Вы ж с меня кожу сдираете!

Ну, и Вова уже, так, примирительно:

– Ага? Не шваркать?! Меня так учили между прочим! Что вы на меня наезжаете, Лена? Хотите к чекотило из салона с другой стороны Тверской – с его маленькими ручонками, которыми он только щипаться может да синяки ставить – пожалуйста! Идите!

Любимый. Короче, ты понял: мне надо было крайне сосредоточиться и следить за руками Вована. Мне не до твоей этой пошляцкой оранжерейщины было. С ним ведь только расслабься – и кожи нет! Ручищи – как экскаваторы! А тут еще – букеты от тебя принимай! Да, милый, ты правильно догадался: это тот самый Вовик, который при Центробанке ошивался сначала – а потом пошел по рукам. В хорошем, я имею в виду, смысле. Его ни с кем не спутаешь – выглядит как медведь, но с очень аккуратной прической – как с рекламы туалетной бумаги.

А у него еще такой ритуал специальный, перед массажем: обязательно пойдет руки мыть горячей водой. Долго моет. С мылом! И почти кипятком! И как-то там растирает их специально. Чего-то там приговаривает, напевает. Ну и тут он, слышу, кричит мне из ванной:

– А нормального, человеческого мыла у вас, Лена, нет?! Куска хозяйственного или дегтярного? Что это тут за дрянь стоит на раковине в бутылочке?

А Вова у меня здесь, любимый, для твоего сведения, первый раз вчера был. Обычно я к нему ездила, в кабинет, туда, на Маяковку. Но мне, честно говоря, надоело возиться к нему ездить – выгружать, оборачивать, заворачивать, мыть, сушить загружать. Парковаться. Да и эта его кошмарная тарантаска на колесиках, на которой он массаж делает, честно говоря, достала уже: хотя он и уверяет, что это профессиональная массажная лежанка – но как-то уж быстро на тележку из морга смахивает, и скрипит отвратно, когда он на тело нажимает. Да и вообще: два шага здесь Вове до меня пешком пройти.

Короче, я Вовику отвечаю:

– В бутылочке, действительно, дрянь стоит. Это вы правильно выразились. Причем выяснилось, что это дрянь, совсем недавно! Это миндальное, Пальмолив. А тут, на днях, представляете, мне рассказали, что они проводят опыты на животных. Мне показали на сайте «ПЕТА» кошмарные материалы. Ну, знаете, там, кролики, у которых всю их жизнь голова зажата скобками, они зафиксированы в определенном положении, в крошечном пространстве, и им в глаза заливают мыло и другую дрянь, и наносят им раны – и заносят туда мыло и прочую блевотину, которую хотят продать нам, – всё это я, не вставая с дивана, разумеется, Вовику сообщила.

Вова даже воду, слышу, сразу выключил:

– Тьфу, Лена, что вы мне пакости про кроликов? Хозяйственное мыло есть или нет? Говорите по-простому! Вы чем стираете? Я смотрю, у вас стиральной машины нет!

– Я не стираю Вова. У меня аллергия на все эти штуки. У меня всё в прачечную забирают. Вон, если хотите, возьмите со стола: мне один молодой человек подарил – мыло с солями Мертвого моря. Я все равно его выбрасывать собиралась. Знаете ли, сомнительное удовольствие – купаться в концентрированных испарениях предсмертного пота жителей Содома и Гоморры.

Тут уж Вова совсем расстроился, и с причитанием: «Ааай, дда нну вас!» – рванул обратно из ванны.

Вышел, стоит с полотенцем, руки растирает. Похлопывает ладонью о ладонь. Пританцовывает. Пум-пурумкает там опять. Прямо языческий обряд какой-то, чесслово!

Я ему говорю:

– Вова. Перестаньте меня заставлять себя чувствовать, как на приеме у зубного! Начинайте уже! И не шваркайте. Сфокусируйтесь. И не болтайте. Пожалуйста.

А про Вову давно уже всем известно: как массажист он – гений. Но его словесный дрифт – прямо беда! Нет, ну, то есть, как начнет массаж – так параллельно навешивает тебе все свои кошмарные медицинские фильмы ужасов из жизни. На него уже все клиенты жалуются – что заткнуть его невозможно, с его этими вечными разговорчиками. Так что, знаешь, с кроликами и Ям а`Мелак – это ему была маленькая месть. Но никто, заметь, не уходит от него! Наоборот борются за то, чтобы по благу попасть в его клиентуру! Он уже, кстати, даже и список клиентов закрыл, новых не берет. Времени, говорит, нет. Потому что в Москве, реально, он – лучший.

И что ты думаешь? Продержался Вова ровно минуту, после моего предупреждения.

И начал:

– Нет, Лен, ну этого я просто не могу вам не рассказать! Представляете, на прошлой неделе, была у меня одна моя постоянная клиентка – фамилию я вам не называю: знаете ли, профессиональная этика! Я ей бочки делаю, целлюлит сгоняю, ну а она вся такая из себя, подружка этого, как его? Ну вы знаете?! Пегий такой? Из правительства.

Я ему, ласково так:

– Заткнитесь, Вова, пожалуйста, а? Меня тошнит от этих пегих, из правительства. Дайте мне спокойно полежать подумать. Меня не интересуют эти истории.

А сама лежу и побряхтываю, потому что в этот момент Вовик как раз мои бедные плечи доламывает.

Тут Вова мне, поднажав на хребет, возмущенно:

– Да не-е-е! Лен! Вы меня не так по-(хряк!) – ня-(хряк) – ли! (Хряк-хряк!) Это ж я не про кто с кем! (Шваарк!) Да плевать мне на него! (Шшвварк!) И забыть!

Я ему:

– Вова, перестаньте немедленно шваркать! Держите себя в руках! Достаточно того, что вы хрякаете!

– Вы за кого меня, Лена, принимаете?! (Шварк!) Я, что, вам – сплетник какой-нибудь?! (Шварк!) Я ж про нее! Лежит она, короче, там, у меня на лежанке, которую вы, Лена, (хряк-хряк!) почему-то (хряа-а-а-ак!) все время критикуете (Хррряяк!)! А я только-только работать (Швааарк!) с ней начал, весь уже в мыле (Шварк – Шварк!), потому что ляжки у нее действительно не приведи...

Тут я его уже грубо перебиваю и говорю:

– Так, Вова, всё, замолчите. И не смейте мне по спине больше шваркать. У меня целлюлита нет. Еще раз шваркнете – я вас выгоню. И заткнитесь, сделайте милость. Я не желаю этих подробностей.

Вова замолк, но ровно на секунду, а потом затараторил:

– Ладно-ладно, Лен, тогда без подробностей: короче, слушайте, лежит она, я работаю...

В этот момент, Вова, явно желая показать мне, как именно он над ней работал – обхватил мои предплечья своими ручищами, как наручниками из наждака, и давай их растирать по кругу! Больно жутко! Тебе когда-нибудь «крапивку» в детстве делали, любимый? Во-во! Ощущение ровно такое же! Как будто он огонь собирает высекать из этих моих несчастных ручек! Я поойкиваю, а этот бессовестный гад, пользуясь моим положением, невозмутимо продолжает:

– ...И тут у нее, – говорит, – представляете, звонит мобила. А мобила на подоконнике валялась. Я ее спрашиваю: дать телефон? Она такая: «Да, да, обязательно! Я жду звонка». Я пошел ей за этой мобилой – смотрю, телефончик такой маленький, уродливенький, скучненький, я его взял – и чуть на ногу себе не уронил! Не представляете: та-а-акой (хряк-хряк-хряк!)

тяжеленный, как молоток! Думаю: это кто ж такую дрянь-то сделал? Из чего это он? Наши, что ли, русские, что ли, думаю, мобилы стали делать? По конверсии, на каком-нибудь военном заводе? Взглянул, для интереса, что за фирма: ну, фирма какая-то неизвестная, у меня в мобильном салоне рядом с домом такой и нету даже, что-то типа verti, что ли, или что-то в этом роде. «Верти». Не знаете такую?

Я говорю:

– Вова. Вы долго еще будете мое терпение испытывать?

– Не-не! – говорит. – Не долго! Еще буквально секундочку! Короче, выхватывает она у меня этот свой страшенький телефончик, и пищит в него: «Алё! Да-да, выезжаю!» Я думаю: «Ну, это уже совсем хамство! Как это «выезжаю»?! Мы только что работать начали! А как же ляжки с целлюлитом?! И тут она вскакивает, и говорит: «Вовочка, извините, мне надо бежать: нос подвезли!»

Мне бы, любимый, вот тут бы надо было и прихлопнуть всю эту Вовину болтовню! Вот ровно вот в эту секунду! Я же ведь, любимый, уже не могла не догадываться, что ничего аппетитного в хэппи-энде этой истории не будет!

Так нет, я, сдуру, возьми да и спроси:

– Что за нос?

Поймалась, короче!

И тут этот подонок, уже ликующе:

– Ха! Неужели вы не понимаете, Лена! Это ж у нее оказался нос не настоящий, а после пластической операции! Ну, там ей форму носа почему-то хотелось другую! А эти хрящики, ну, донорские, которые туда вставляют, имеют обыкновение рассасываться! Раз – и растворился! И теперь, как она мне сказала, ей каждые полгода приходится новый хрящик вставлять – от свежего мертвяка! А иначе нос провалится, как у Майкла Джексона! Ну и вот ей как раз из клиники позвонили, что свежего мертвеца подвезли, с подходящим носом!

Да, милый. А ты тут со своими цветами! Нет, я не стала даже ему никакого скандала закатывать. Уже поздно! Невозможно Вовику обратно в рот нафаршировать то, что уже из него изрыгнуто.

Вова торжествовал:

– А что вы думаете! Конечно! Так вот идешь по улице и не знаешь, какие мимо тебя носы, скулы и прочие части тела проходят! Прихожу я как-то к девушке на свидание, а у нее силиконовая долина (хряк!) вместо бюста оказалась! Нафига ей олимпийских статей захотелось – убей меня (хряк-хряк-хряк!), не пойму! Мало того (Ххряк!) – они еще и съезжали все время, эти силиконовые вставки! Четыре вымени получилось! Как на свиноферме! И честно вам скажу: я сбега-а-а-ал!

Причем на этом «сбега-а-а-ал» он ка-а-ак хватанет мне опять по всей спине, как наждаком!

Этой похабели я уже не выдержала:

– Всёе, Вова, – говорю. – Или вы сейчас же затыкаетесь – или мы с вами больше не работаем. Никогда. Разлагающиеся имплантаты станут вашим последним словом в нашем с вами общении. Если еще раз шваркнете – результат будет таким же. Давайте послушаем тишину.

Вова заткнулся – ровно на минуту. Не шваркает даже. Массаж – просто лайт-версия!

Потом обиженно, и как бы не мне, а как бы в воздух, запричитал:

– Послушаем мы, Лен, скоро не тишину, а как ваши косточки друг о дружку стучат. Вы что это вот, специально что ли не жрете ничего? У меня бизнес отнимаете? А? Жрать-то все-таки что-то вам надо иногда! Тошная уже! Прямо противно. Над чем тут с вами работать-то? Я костями не занимаюсь. Я же не мясник вам какой-нибудь в советском магазине!

The Voice Document has been recorded

from 19:59 till 20:30 on 18th of April 2014.

Короче, сволочь этот Вовик та еще. Но в единственной детали Вовик оказался прям проком: либо быстрый обморок – либо срочно съесть надо было что-нибудь. Эту нехитрую альтернативу я сразу же осознала после его ухода. Славик, едрёныть, всё не звонит – не едет. Набрала ему: мобила вообще вырублена.

Ну, и я экстренно отбила эсэмэс водителю: «Герцогиня Кёркольдская будет к чаю через полчаса!» (Это пароль у нас такой!) Думаю: чего там водителю без дела ошиваться – пусть, думаю, сумки мне донести поможет, прошвырнется.

Думаю: ну успею же я до Славика за жратвой сходить! Точно! Будет чем его угостить! Славик мой мастер опаздывать еще почище меня.

Ну, и Андрюша, водитель, зашел как раз в тот момент, когда я руки коулд-кримом запечатывала, с пчелиным воском – бескровная альтернатива гусиному жиру: доктор Цвиллингер смилостивился, капитулировал – говорит: «Ладно, – говорит, коулд-крим сойдет». Короче, задраиваю поры как в субмарине: герметизация полная.

Едва мы с Андрюшей из двери вышли – подплыла ко мне в коридоре одна дама – местная старая жилка, с верхних этажей – ловко так подплыла, с минимальным звуком перебирая лапками по липкому линолеуму в ярко алых новеньких, еще не стоптанных плюшевых тапках с помпончиками. И – вижу – подает мне грозные знаки глазами (с дрожащей в такт сигнализации обвисшей синей куриной кожицей вокруг глаз) – а когда я ее тайную азбуку дешифровать не смогла, то она вдруг прильнула ко мне всем телом, и засвиристела в ухо сквозь дырки между зубов:

– Вы свыфйте меня? Нисего не отвечайте просто девжите себе на уме информацию. Свыфйте? Я здесь со сталинских лет зыву. Здесь все за всеми следят. Я их всех знаю. Например, эта, Ссс... (тут свист перешел в имя соседки с одного из верхних этажей) – она еще при Брежневке подъездной донофчицей работала. Раньше по пять-шесть человек из жильцов на подъезд минимум было, которые регулярно донофили. Вы, что, не знаете? Так ведь по всей Москве в советское время было! Да-а-а! Обязательн-а-а-а! А как же? Мно-о-огие померли. Но многие и зывы. При Ельтфине-то они без работы фидели. А теперь давно уже снова на флувбе – и имеют пятьсот рублей в месяц, за то, что рассказывают, кто к кому приходит, а кто когда с кем уходит. Ну, там, и про иностранцев тоже – рассказывают, приглядывают, про вижиторов.

– Пятьсот рублей? – изумилась я. – Какая-то неправдоподобная сумма. Маловато как-то. Я вам не верю.

Старушка мелко затрясла головой и всезнающе засмеялась:

– Дие-вушка-а! Свуфайте меня! Кризис зе! Раньше все вообще получали по двести – и то фсястливы были! До пятиста это только старшим по подъезду повысили! Да и то лутфим! Фифтему возобновили. Свыфйте меня? В каждом подъезде! Свыфйте меня! В каждом! Хоть один-два человекка – да есть. Ну не всем, конечно, так роскошно платят. Обыфным, рядовым выдают всего по двести – триста рупь. Старикам же ведь много не надо: сидишь на пенсии, никому не нувен! А тут вдруг – внимание, разговоры! Ну и фювствуешь себя при деле. Поди плохо. И на на фигаретки денюфку подрафывают! Впрочем, и молодые идут. Родила ребенофка, например – фидишь на декрете, пофобия маленькие – как зарабатывать? Фейчас денефку прибавили – ефью больфе подфянулись. Фидишь консьержем – или прогуливаешься по подъезду, с людьми разговариваешь – а заодно и... На фигаретки. Да, офобенно ховошо одиноким маферям, или пенсионеркам – подработка на дому. Так что свуфайте меня: дорогая диевушка! Я за вами давно наблюдаю – вы себя ведете неосторофжно. Примите информацию. Профто к сведению. И тут не это фамое!

– Что «не это самое»? – уточнила я на всякий случай.

– Ну тут не это! Я к вам с добром! Вы имейте в виду!

Похоже, почувствовав, что иначе от моих наводящих вопросов ей не увильнуть, доброжелательница приложила удивительно моложавый, крошечный, указательный пальчик к трагически накрашенным губам и со зримым активным участием языка повторила звук «Ссс!» – который я лично смогла расшифровать только как «Silentium!», – после чего она предпочла красиво (в смысле молча) удалиться, чуть звучно влача за собой по бурому линолеуму прилипающими подошвами театральную ноту напряжения.

Расфокусированно следя за ее уплывающей фигурой – ее мужиковатой спиной в претенциозном, китайском черном халате, расписанном огромными едкими лиловыми водяными лилиями, которые кой-как удалось стянуть широким поясом в кубический лакированный букет на талии, но зато ниже они сразу мстили за несвободу, и на тазу уже вели себя как шторки в переполненном двустворчатом комод, причем под бешеным двоящимся увеличительным стеклом, – и все это шло на бледных, голых, тончайших, непонятно как держащих конструкцию, но зато невероятно шустро, гладко ходких ножках (так что зрительно получалось, что громоздкую мебель плавно переносят по коридору какие-то маленькие, меланхоличные изящные чахоточные чернорабочие), которые торчали из-под подола по голень – как будто привинченные с обоих боков к краям халата под резким, критическим углом внутрь, и как будто никакого продолжения над ними и не было, – я вдруг еще раз запнулась взглядом о ее яркие тапочки – алые – нет, скорее даже малиновые, на которых престарелая затейница выделяла свои вычурные кренделя прочь от меня, отскакивая от стен и легко перебегая то на одну, то на другую сторону коридора (зигзагами – видимо, для конспирации), изображая, что сильно интересуется состоянием кожи чужих дверей по пути, и заодно слегка подпнывая батманом тандю-жете соседские половички на ходу, так, для порядку. Своими шикарными плюшевыми тапочками. С закрытой пяточкой. Новенькими. Нарочито яркими, как будто специально активированными на фоне блекло бурого линолеума. Как текст, выделенный малиновым маркером в компьютере. Тапочками, под кокетливым кантиком которых (у нее на левой ноге, с внутренней стороны, прямо под косточкой) я вдруг ясно увидела аккуратную заткнутую пятисотрублевую купюру.

Сложенную вдвое. Честное слово: я удивилась.

Чего, карманов в халате не нашлось?

На улице Андрюша мне, эдак, с материнской нежностью:

– Зря вы, Лена, головной убор-то опять не надели!

Сам-то Андрюша в вязаном пирожке ходит. Низко надвинутом на лоб. Грубым выглядеть пытается. Этот пирожок он, как только выходит на улицу, двумя руками на уши натягивает каждый раз – таким яростным движением, в котором участвует вся шея и вообще все тело, – как водолаз костюм, как будто ныряет туда, в эту шапку, так глубоко, что потом у него пару минут и глаз-то почти не видно, пока она опять не сползет вверх. И тут он начинает чесать свой большущий лоб указательным пальцем, согнутым в баранку – потому что шерсть лоб натерла. Костолом такой с виду, амбал, два метра, в хрестоматийной кожанке, нос булыжник.

А вот едем мы с ним как-то раз по Садовому кольцу, разговорились о чем-то мистическом, и тут он после финальной паузы выдает мне:

– Вы знаете, Лена, я вот честно вам признаюсь: мне иногда кажется, что что-то где-то все-таки есть!

И это в этом ужасе серой слякоти, каменных брызг, грязищи и вечно бибикающих неврастеников в пробках Садового сказано!

Но это он только со мной такой чувствительный. Подъехали, вон, давеча, припарковываемся на Новом Арбате, ну там, в Артиколи сходить крем мне гипоаллергенный купить, ну и к машине подбегает моментально кривоногий и нагло криволицый в черной короткой дубленке штырь и колотит со всей силы по лобовому стеклу красным кулаком, вышибая либо пропуск либо взятку.

Тут сентиментальный Андрюша мой, спокойным движением, открывает окно, поворачивает голову и изрыгает туда страшные нечеловеческие матюги, вперемежку с названием государственных аббревиатур – так что мнимый контролер отваливается и больше никогда не появляется на нашем горизонте; а Андрюша – бззыымм – закрывает окно – быстро-быстро, видать, чтобы его матюги не успели обратно ко мне по воздуху в машину влететь – и вмиг поворачивается ко мне со своей обычной мягкой улыбкой, и даже какой-то детской растерянностью на губах, как будто его застукали на невинной шалости:

– Вы простите, Лена, что так далеко от входа припарковаться удалось, – идти немножко далековато, а холодно опять на улице...

Вот и вчера – холодно – не то слово! Просто уже температура против Цельса, по моим ощущениям. Или как его там звали? Брррр. Околеть можно.

Территория, патологически, насквозь, зараженная холодом.

Снаружи, за решеткой входной двери, за стеклом – загадочное, завалившееся углом за деревянную перемычку, большое объявление: «Нотариус – воскрес.».

Андрюша говорит:

– Лена, вас продует! Ветер-то штормовой прям. Зря вы так легко...

Иду, думаю: действительно. Свирепейшие муссаки и пассаты дуют в моем переулке – ну или как их, свирепые, которые веют обычно между скал? Нет, мусаки – кажется, это что-то съедобное. А пассаты – это, кажется, машины. Ну не важно. А как их? На самом деле? Которые между скал? Патиссоны? Что-то, думаю, какая-то мне гастрономия в голову лезет вместо географии. Вперед, вперед – срочно! За едой!

Подходим к арке – а там – гондольеры! Всё водой залито, и гондольеры гребут! Стая солнечных диких зайцев в салочки играет, всё сияет, ручьи бурлят, прилив, зайцы с солнцем в пинг-понг режутся – от воды на внутренней подложке арки – рисуют дрожащие борозды нёба на ее зеве и на всех живых плоскостях вокруг! И вот, один гондольер из-за угла с Тверской сюда к нам выгребает, а другой из переулка ему навстречу плывет. На их спец-одежде тоже солнечные блики балуются – волнистые сеточки выделяют: многократно повторяющийся в разные стороны знак «приблизительно равно». Я зажмуриваюсь от сияния и уже буквально слышу, как гондольер, который выгребает сюда к нам с Тверской, кричит из-за поворота (как и положено истому венецианцу) тому гондольеру, который здесь, в переулке, чтоб не столкнулись гондолы:

– Оой! Гондой!

А тот ему отвечает... Нет, я тебе даже лучше и не буду передавать, что он ему ответил, этот другой гондольер! Который, стоя на деревянном помостке, увы, прочищал веслом прорванную на углу с Тверской канализацию.

Заткнутый нос. Капюшон. Все люки задраены. Маршрут броска – Елисейский. Оббежали весенний арык стороной. По узкой сухой кромке, с правого боку под аркой. Ноги строго ставить только одна за другой по линеечке. Как муравьиный мост. Андрюша даже предлагал использовать машину как волнорез.

Подземный переход. Нырнули-вынырнули, уже с той стороны Тверской. И тут я сразу опознала по вишневой заднице пальто свою знакомую бомжиху: массивная, с сильной проседью, ровно подстриженные волосы по плечи, с тележечкой. Я обрадовалась жутко! Я же ее уже с месяц или больше не видала! Мало ли что с ней могло произойти!

– Инна Григорьевна! – кричу. – Здравствуйте, дорогая! Как ваша грыжа?

А она аккуратненькая такая – не как другие бомжи, которые демонстрируют свою нищету – и, главное, не пахнет. Говорит, что куда-то на вокзале раз в неделю бегают мыться в платный душ. Зубную щетку с собой всегда носит. В тележечке такой специальной, где все ее вещи.

– Инна Григорьева! – кричу, и уже догоняю ее, уже рукой до правого плеча ее дотрагиваюсь: – Подождите! Я вас еле догнала! Как ваша грыжа?

И тут Инна Григорьевна оборачивается ко мне – и оказывается хорошо одетой гнусной бабой, идущей в Елисейский. С тележечкой. А никакой не Инной Григорьевной. Тьфу ты.

И самое изумительное ведь, Инна Григорьевна никогда ничего не просит! Не попрошайничает, в смысле, на улицах. Как она живет – загадка. Иногда суешь ей денег, а она триста раз переспросит:

– А ты уверена? А ты-то сама как проживешь?

Впрочем, однажды – попросила в магазин «Москва» зайти и книжку ей купить. Она смешная, эта Инна Григорьевна. Библиотеку целую возит в этой своей тележечке. Обменивается книжками с весьма не тверёзыми поэтами, которые под утро с безобразно интеллектуальных пьянок расходятся. Цитирует Бунина и Горького времен Капри. Бомжует уже лет пятнадцать. Говорит, что родная сестра ее с квартирой обманула, когда их мать умерла. А один раз – последний раз, когда мы виделись – вдруг впервые пожаловалась: задрала свой фиолетовый свитер и показала – вон, смотри, ужас, грыжа – говорит: «в больницу надо, но кто меня такую возьмет». С правого боку на животе у нее оказалась выпадающая из подола общей скульптуры гроздь нездорового сизого гипертрофированного винограда. Сколько ж я ее уже знаю, эту Инну Григорьевну? Ты бы видел, как мы с ней познакомились! Я как сейчас помню: как-то выбежала ночью к вагончику «Крошки-Картошки», туда вон, напротив, в начало Тверского бульвара, где Пушкин стоял, пока Сталин не перекинул его на противоположную сторону. А на мне эти старые джинсы госсобоссо, яркие, разрисованные, абсолютно ассиметричные, с мордами и с вкраплениями и стразами на пятой точке. Смотрю, какая-то женщина стоит под козырьком, у киоска, красивая, лет шестидесяти, с какими-то вольготно расположенными крупными чертами лица, с длинным аккуратным каре, с проседью, и с тележечкой – и аккуратно ест картошку с сыром за столиком – чикает пластиковыми ножом и вилкой, перебрасывается с девчонками-киоскершами про погоду: тоже весна тогда была, только вот ночь теплая, парило прямо – и хитро на меня так посматривает.

Дождалась, пока я себе тоже картошку купила (мне без сыра и без масла, пожалуйста).

И вдруг говорит мне – без всякого предисловия:

– Интересные у тебя джинсы: на левой штанине – все твое прошлое, на правой штанине – вон, будущее!

Я аж поперхнулась. И так в общем, ну, надо тебе признаться, не без опаски покашываюсь что на правую ногу, что на левую – ноги оттопыриваю. А она сделала паузу, пока я горячий кусок картошки проглотила.

И предлагает:

– Хочешь, я тебе еще лучше джинсы сошью? Пойдем со мной в выходные. Я тебе на блошиных рынках таких материалов накуплю, таких аппликаций сделаем! Эти, небось, из бутика какого-нибудь. Дорогие небось? А я тебя научу, как лучше сделать – и за бесценок – таких ни у кого в мире не будет, кроме тебя! Уникальные. Мне ничего за это не надо – я тебе хочу подарок сделать.

Мне интересно стало. Я вместо того, чтобы схватить свою картошку и дуть домой, по пути сожрав все без остатка, даже до квартиры не дождавшись, как обычно – я вместо этого пристроилась там рядом с ней, на соседнем столике, выедаю свою картошку из фольги. Выпиваю горячие кусочки и жду.

А бомжиха на меня никакого внимания не обращает. Но я чувствую, что она про меня что-то думает. И как бы боковым зрением мы друг на друга смотрим. Знакомимся.

Потом – доела она. Губы салфеточкой обтерла. Девочек-продавец поблагодарила. Взглянула за тележечку. И ну – туда, вниз по ступенькам в глубь Тверского бульвара, в сырую и теплую темноту. И уже перед тем, как шагнуть вниз, затормозила. Обернулась. Хитрецки на меня опять глянула.

И как выдаст:

– Я тебе вот что скажу про тебя. Ты обыкновенных-то не люби. Люби необыкновенных. А то...

И не договорив, развернувшись, бодро пошла по ступенькам, махнув мне рукой, и бумцая за собой колесами своей клеенчатой сумки-бомжевозки.

Слышал, любимый?

Вот зря я сейчас, кстати, эту картошку вспомнила – прям вот запах почувствовала: они мне еще туда маринованных огурцов подложили тогда, кстати. А вчера – так прямо уж желудок свело, как вспомнила об этом. Короче. Рванула в Елисеевский.

Высматривала, высматривала бомжиху перед входом в магазин – нигде нету. И это ж надо же мне было какую-то расфуфыренную дуру со спины за нее принять. Фу как обидно. Смотрела – смотрела: нет нигде Инны Григорьевны, пропала куда-то. И главное, жалко: зиму-то она кой-как пережила – а теперь куда-то провалилась. Только две артосоносные старушки грустно брели из Елисеевского мне навстречу с архаичными плетеными авоськами, сеточками веревочными, с душистыми круглыми хрупкими караваями-паляницами внутри, которые хотелось понюхать прямо через этот портативный гамак. А так – толпа, толпа.

Ну, в Елисеевском, ты знаешь, разумеется, к какому я отделу сразу полетела? Андрюша уже тоже, меня даже не спрашивая, напрямиком к фруктовым прилавкам впереди меня идет.

А там, во фруктовой секции, я уже, разумеется, замечталась! Стою, думаю: может, купить вот этих вот киви-gold? Которые на срезе как гибрид неграненого сердолика с хризолитом? Или, может, черимойю? У которой косточки выглядят, как будто их кто-то уже пожевал и выплюнул, пока они еще были незастывшими, в мягком пластике, в протомодели, в супер-компьютере супер-дизайнера? Где тут у них черимойя? Нет у них здесь черимойи в Елисеевском, любимый, ты представляешь? Позор.

И тут шальная мысль пришла мне в голову. Думаю: эх, разврат так разврат! И бросилась в секцию вегетарианских средиземноморских блюд. И одно уже единственное слово горело во мне: Схуг! Что мне мешает, думаю, в конце концов, купить и поесть схуга?! Вот прямо вот сейчас! Немедленно! Наплевав на доктора Цвиллингера! А? И в ту же секунду уже вот во всех деталях представила себе, знаешь – сэндвич: слой хумуса, слой схуга, оливки, помидоры, корнишоны – и все это на квадратном куске грубого, грубейшего хлеба. Разрезанного по диагонали и сложенного вдвое. Или можно питу. Ага, и макать сначала в хумус, или тхину – а после в схуг! И еще раз в схуг! В красный схуг! Ну, или хотя бы, на худой конец, в зеленый – хотя – зеленый и не такой ядреный! Зеленый, думаю, конечно хуже – но уж какой у них сегодня здесь, в Елисеевском, будет!

Ну, или можно, рассуждаю, вообще пуститься во все тяжкие: закупить фалафеля – и макать в схуг! Но – тогда уж исключительно в красный! Иду, и начинаю уже волноваться: замечталась, думаю, а сейчас у них ни красного, ни зеленого не будет! Уже чувствую, что почти бегу. Подхожу к прилавку со всякой ерундой, которая в Иерусалиме продается как дешевый уличный фастфуд, а у нас здесь в Москве почему-то – как деликатесы. И смотрю: схуг! И красный! И зеленый! Глазам не верю! Ох, возлюбленная термоядерная медитеранская аджига! Доктор Цвиллингер мне запретил все красное. Говорит: «В природе же все мудро раскрашено. По крайней мере, пока у вас приступ аллергии – держитесь подальше от всего красного. Делайте акцент на зеленое». А я думаю: а я красненького сейчас схугу хватану – а потом зеленым схугом догнаться! Чтобы аннигилировать ущерб для организма! А Цвиллингеру ничего вообще не скажу, когда он звонить мониторить меня будет, по дурной своей привычке. Может, думаю, схуг, вообще, мою аллергию вылечит? Ну, знаешь же ведь, известный же факт – когда жрешь что-то за пределами острого, организм получает сигнал, что его сейчас укокошат – и моментально мобилизует все свои ресурсы! Точно, думаю: буду лечить аллергию схугом! И в Швейцарию тогда к доктору Цвиллингеру больше лететь не понадобится!

И я уже эдак любовно облокотилась на прилавок и уже буквально пропела, раздумчиво так, продавщице:

– Мне, пожалуйста-а-а...

И тут – ай-яй-яй – звонит подруга на мобилу. Какая, какая подруга?! – ты сейчас как всегда заноешь! Не твое дело! Короче, я слюну сглотнула, чуть от прилавка отошла – и не выдержала: говорю в мобилу, подруге, так нежно: «Слушай, – говорю, – а вот как ты думаешь – можно мне красненького схугу, а? В лечебных целях? Чтобы аллергию вылечить?»

А эта гадина мне:

– Меньше, чем холеру я бы тебе схугом, подруга, лечить не посоветовала.

Еврейская стерва. Вечно она со своими разумными советами, а! Под руку. Ровно в ту секунду, когда мучительно уже хочется чего-нибудь сожрать! Ага. Я ее Мобильной Премудростью обзываю. Знает кучу всяких полезных бытовых деталей. Знаешь, из тех людей, кто на улицу в незнакомом городе без карты не выйдет – и сначала два часа сидеть будет изучать маршрут – вместо того чтобы все эти два часа гулять и наслаждаться. Ее даже вместо спутниковой навигации использовать можно!

Я ей как-то раз звоню из Вены после деловой встречи – времени в запасе только час перед отлетом, и говорю: «Как мне пройти к Бельведеру?» А она мне, нагло так: «Это зависит от того, подруга, где конкретно ты сейчас находишься, ты так не считаешь?» Язва и стерва. Я ж говорю. А я ей: «Ну где-где? Откуда же я знаю?! Это ж ты, – говорю, – Вену знаешь, а не я! На площади вот! Меня, – говорю, – хоть на коленях проси – я карту в руки не возьму. Для меня это все равно, что читать словарь – сразу хочется читать во всех направлениях!» «Ладно, – говорит, – опиши мне тогда, – говорит, – в деталях, что там вокруг тебя?» «Что-что! – говорю. – Ну, вот какая-то тетка толстая на постаменте!» «А! – говорит. – Мария Терезия! Ну так я тебе диктую единственный способ, которым ты, подруга, в состоянии добраться до Бельведера. Записывай, – говорит. – Выходишь, – говорит, – на проезжую часть – вышла? Выставляешь вперед правую ручку – выставила? Машешь ею, излавливаешь такси – и говоришь: «Бельведер!» Запомнила?!»

Короче: еврейская стерва.

Знает всякие умопомрачительные технические детали про то, где проложен трансатлантический телефонный кабель по дну океана – по которому, типа, сигнал меньше чем за секунду долетает из Европы в Америку, прикинь! Я ей как-то говорю: «А рыбы там этот кабель не перегрызут? Этот кабель же, – говорю, – там, на дне океана никто не охраняет!» А она мне, умным голосом таким: «Да, – говорит. – Есть такая возможность. Но там, – говорит, – на дне, их, этих рыб, так сильно плющит, что уже не до перекусывания. Диверсантов, боюсь, постигнет та же участь. Им там на дне не до пикников, не до еды».

Короче, – стою я вчера, в расстоянии полбедра от прилавка, веду я заочный диспут с моей благоразумной подругой – и продолжаю ее уламывать – говорю ей: «А если я не красный схуг возьму? А хотя бы зеленый? Ну совсем немножко? А?»

А слюни уже буквально подступают вновь.

Короче, ответа я ее уже не дослушала.

Потому что на противоположной стороне стойки начался какой-то галдёж и оживляж.

Андрюша аж занервничал – говорит: «Что там такое-то не пойму?»

И мне бы сразу, дуре, отвернуться и сказать: нет, всё, уходим отсюда. Потому что ж ежу понятно: там, где оживляж толпы, ничего хорошего быть не может. Туда, где массовке весело – лучше не сுவаться.

Так нет – сунулась. Вслед за Андрюшей. Думаю, что за скандал там? Обхожу прилавки. По пути слышу, как поджарая кикимора в мехах жеманничает с бужениной в мясничком халате:

– Мне, грамм триста, – просит, – постненькой ветчинки взвесьте, будьте любезны! Нет-нет, вот лучше вот этот кусочек, попостнее! Нет-нет, вот эту, слева, постненькую!

Иду, и мельком про себя думаю: страна, где ветчинку называют «постной», обречена, по моему, на мучительное вымирание. Как ты считаешь? А? Любимый? Это приговор, по-моему? А?

Пошла дальше: что ж там за гвалт и нехороший смех?

И когда я увидела – то даже постнейшая ветчинка уже могла, по сравнению с этим, райским садом показаться!

Нет, милый, мне вот даже описывать тебе не хочется, что там происходило! Дебилы. Недоразвитые дебилы сгрудились вокруг судка с живыми – полуживыми, еле живыми, уже почти дохлыми, искалеченными, но еще движущимися крабами, друг по другу карабкающимися в склизкой грязи судка, как в братской могиле, во рву – и потешались над ними! У одного краба не было не только клешни, а, собственно, и всей передней ноги – и его агонизирующие движения и попытки выбраться из-под подышающих собратьев вызывали живейший гогот людской (ну, только условно – по номинальному зоологическому прозвищу) компаши. Милый, один из весельчаков, кстати, был страшно похож на тебя. Ага, только посмазливей, и без проплешины, можешь поревновать и позавидовать. Хохотал с иродовым мещанским любопытством.

Короче, ничего уже было не надо мне. Ни схуга. Ни фига. Уже просто не глядя ни на что, чудовищной силой воли борясь с тошнотой, на механических ногах вернулась в овощи-фрукты, похватила как кегли, не глядя, без разбора, без формы и без вида чего под руку попало. И вон оттуда.

И иду, уже на улице, и чувствую: еще несколько секунд – и Андрюше придется собирать меня как хворост с мостовой, и тащить домой как дровосеку. Что-то мне поплохело совсем, из-за этих крабов, и асфальт просто уже угрожающе в глаза кидается.

Я говорю:

– Андрюша, давайте-ка мы с вами на секундочку вот сюда вот еще, в галерею «Актер» забежим, ладно?

А уж какой там «забежим» – доползти бы! Думаю: сейчас там хотя бы нюхну духов каких-нибудь, чтоб в обморок не хлопнуться, виски смажу.

Ну, Андрюша, такой:

– Без проблем.

Но, видимо, Андрей взглянул на меня в этот момент. И видимо, с колористикой у меня на лице было в тот момент не очень. Я только боковым зрением увидела, как у него пирожок со лба вверх пополз. Но промолчал. Только пакеты у меня сразу выхватил:

– Отдайте, Лена. Не украду, не беспокойтесь. Охота была – красть! Мне там все равно и поживиться было бы нечем.

Входим. Ненавижу я эту «галерею», между прочим. Мещанский магазин, а не галерея. И купол, кстати, снаружи твоим любимым Негреско отдает.

Но я уж чувствую: всё, имёдженнси искейп, не до разборчивости. Цугом с Андрюшей по эскалатору, на второй этаж. В парфюмерный. К счастью – смотрю – на полке с краю – мои любимые, самые старомодные, изобретения прошлого, двадцатого века. Нюхнула. Ага. Вместо нашатыря. С запахом 3D, со многими гранями, сильно разнесенными во времени, каких сейчас уже не делают. Объемные. С мутным подтекстом ладана на доньшке третьей ноты. Приснула сразу в нос. И потом еще на виски, и сбрызнула на обе ладони – на дорожку. Чтоб до дому добрести. Короче – чувствую: сработало. Шоковая терапия. Единственное, что подпортило чудесный эффект – вспомнила сразу этот твой гнусный обонятельный конфуз, всю эту твою жалкую конспирацию. Я же ведь ни на секунду тебе не поверила, когда ты завирал: «Зря ты вот духами пользуешься! Все равно я запахов почти не чувствую. Ну абсолютно нет у меня

обоняния, почти совсем, ну совершенно! Честное слово! Не знаю почему – может от перенапряжения, работаю, наверное, слишком много, зайка!»

Ага. Перенапрягся, любимый. Особенно когда смекнул, что духами я не для тебя, а для себя пользуюсь. И уж скорей расстанусь с тобой, чем с этим обонятельным шитом.

И тогда уж ты трусливо сдался:

– От тебя ж пахнет прям как от парфюмерной фабрики! У меня ж все костюмы после этого неделями твоими духами пахнут! Даже после химчистки!

Да, милый. Умели делать духи в прошлом, двадцатом веке. Разили. Наповал.

А эта твоя, несчастная, в утиной юбке, поди, скандал закатила?

Короче, едва выбралась я из галереи «Актер» на свежий воздух. Холодный, вернее. А не свежий. Свежий здесь только в кислородных масках у японцев-велосипедистов дают. Ну да, иду, и всё ладони нюхаю. Сложила их шорами – и бреду. Пошатываюсь – но уже только слегка. Думаю: это ладно, я-то просто таки *super iron lady* в сравнении с моим бедным Славиком. Славик, вон, на прошлой неделе, прикинь, когда мы с ним заехали ночью на Лубянку, в этот бывший гэбэшный 40-й гастроном, где сейчас круглосуточный Седьмой Континент, – так Славик вообще от впечатлительности чуть не оочурился! Вот не вздумай мне только вот сейчас загундеть: «Зачем это вы со Славиком ночью в супермаркет ездили?!» За зеленью, любимый, за зеленью. За салатиком. Зеленым. Ага. Изобрази мне еще – давай, попробуй, поблей мне еще! – бе-е-е-е! – подразнись! – как в прошлый раз! Рискни! Стоим мы, короче, со Славиком уже у самой кассы – очереди почти никого – если, конечно, не считать тоскливую телку в убогом клеймённом луивитончике на ушлом (ушедшем, в смысле, куда-то) мужеобразном безбёдром узеньком заду: она подъехала уже к кассе с тележкой (размером, примерно, как трактор) – и давай продукты выгружать – наворачивает и наворачивает на лоток кассирше. Наворачивает и наворачивает: и ветчинку, и сырую коровью ляжку, и склизкие сардельки в синюге.

И тут, смотрю – Славик мой, красавец, с лица взбледнул, а со мной так только присутственно беседу поддерживает – а сам вперил взгляд в ее тележку, иногда только слегка тикая своими дивными черными кавказскими глазами то на ее маникюр, то на заваленный лоток перед кассиршей, где все прибывает и прибывает мертвой плоти, то на тоскливую личинку телки.

Ну а она все наворачивает и наворачивает: и бекон, и гордон блю в заморозке, три штуки, и...

Тут Славик ко мне склонился и шепчет:

– Ты посмотри на это чудовище! Сама ж ведь она ничего из этого наверняка не жрет! Анорексия! Явно ведь, что она или модель, или просто соержанка. Явно жесткими диетами себя морит – ты взгляни на ее фигуру! Тощак модельный! Явно, что свою худобу она рассматривает как главный источник наживы. Значит ведь, все эти кабаньи килограммы жратвы – это она всё ему! Типа, на выходные, ужраться! Тому, кто ее содержит или с ней живет!

– Славик, – говорю, – милый! Ты отвлекись на что-нибудь – это ж вредно для здоровья в микроскоп их всех рассматривать.

Но Славик – уже как зачарованный, просто глаз уже оторвать не может от деталей и масштабов растущей на кассе горы:

– Ты представляешь, – говорит, – себе этого ее борова?!

И через секунду – уже так тихо-тихо, уже каким-то суеверным шепотком:

– А ты на ее-то самой лицо посмотри! – шепчет. – Ка-а-шма-а-ар! Трупак! Трупное, пустое, прям как у силиконовых кукол Рона Мюка! Вот ужас-то.

Я смотрю, а Славик-то мой и сам уже зелененький весь! Ох, нехорошей зеленцой лицо его пошло. Цвета переваренного шпината.

А она все наворачивает и наворачивает на кассу: телячью кровавую печень в белом неприятно шваркающем по ушам пенопластовом судке, запечатанном, для наглядности, прозрачной, но уже черноватой от кровавой пены, слюдой, две штуки.

Тут Славик мне как махнет своей изящной ручкой:

– Ой, нет, Лен, все! Не могу больше, все, извини...

И ломанул через кассу к двери.

К счастью, его быстро стошнило. Да-да. Блевонул в урну. Донес. В серебряную урну, от которой всегда за версту несет мокрыми окурками. Да-да. Прямо вот слева от входа в гастроном. А ведь он ведь даже и не вегетарианец, мой Славик! По крайней мере, большую часть года.

Когда я за ним выскочила, молниеносное извержение Эйяфьядлайёкюдль уже иссякло. Улыбнулся мне. Своей фирменной, чеширской, всеобъемлющей, до ушей, без завязочек и без страховок. Просиял. И пошли с ним дальше. К машине, где Андрей ждал. Зеленя я на кассе, разумеется, побросала. Как балласт с проколотого цепеллина.

– Ох, – Славик говорит, – извини, – говорит (это он уже в машине, по дороге ко мне домой), – что-то мне совсем дурно стало: я как представил, как она этому борову готовит, откармливает, а потом он ее... А она, тем временем, не жрет, худеет, чтоб ему приятней было... Ох, не могу, сейчас меня опять стошнит! Как черви. Слепые глисты какие-то! Жрать и сношаться. Невыносимо! Какой-то тошнотный круговорот! Еще странно, что они друг друга еще все не едят! А только имеют.

Короче, он мне всю дорогу до Пушкинской, пока мы по бульварам крутили, про людей-сарделек стонал. Я уж как могла его отвлечь пыталась – а он все про одно!

– Может, – говорит, – там еще и аура такая на Лубянке... удушливая... Может, – говорит, – я поэтому еще... – оправдывается. – Здание-то, – говорит, – какое – не дай Бог! Гастрономчик... Нашли место, где магазин держать... Скажи мне, кто твой сосед, называется! Седьмой континент гулажьего архипелага!

А я думаю: ладно, пусть уж если его стошнит еще раз – так пусть уж лучше сейчас стошнит: или на улице – ну или на худой конец прямо здесь, в машине – а не у меня в квартире. И не смей мне только вот гугнить опять, зачем это ко мне Славик в квартиру по ночам заваливается!

Короче, очухавшись вчера на холодном, хотя и не свежем, воздухе от своей собственной, вовремя проваленной, репетиции обморока, и подбадривая себя примером Славика (который, кстати, в тот-то раз, неделю назад, доехал тогда до моего дома чин-чинарем, без рвоты, представь!), я уже чуть крепче зашагала от галереи «Актер» по Тверской – уже буквально три или четыре шага сделала. Потому что дальше шагать было некуда. Все. Лестница вниз, в переход. Глянула – а там, внизу, толпа кишмя кишит. Живые тела возятся, лезут друг на друга. Да еще и лестница. Я вообще, в самом крепком-то своем состоянии вниз по лестницам ходить ненавижу. Вверх – нормально, как-то инстинктивно чувствуешь опору. А вниз – совсем занудство. Ну не умею я концентрироваться на ступеньках, когда иду по лестнице вниз! Скучно! Точно так же, как не умею ни посуду мыть – ни машину водить. Одно, по-моему, ничем не лучше другого! Тупая занудная механическая работа: что баранку крутить – что тарелки мыть. И что самое противное: и первое, и второе, и третье требует звериного серьезности и сфокусированности на оскорбительно материальных вещах – нельзя ни задуматься о чем-то серьезном, ни глазеть по сторонам, куда хочешь. А зачем тогда всё? Короче, именно поэтому я ни машины никогда в жизни водить не буду. Ни без моей уборщицы, Милы, даже и недели не выживу. Ни по ступенькам вниз ходить никогда не научусь – без моего специального фирменного спасительного заклинания: «Ле-сни-ца-ле-сни-ца!» – которое я себе все время повторяю по слогам на каждой ступеньке, делая ударения каблуками, чтобы хоть как-то хитростью наяву прищипить свое внимание к этому скучнейшему сооружению.

И не надо мне, дорогой, вот сейчас ныть твое обычное завистливое: «Каблукибылучшеняляитакслишкомдлиннаязачемтебеещекаблуки?»

Не надо. Ни при чем здесь каблуки! Вверх-то я по лестницам на каблуках распрекрасно хожу! Каблуки – это вообще чудесная портативная возможность всегда чувствовать себя немножко на холме, вне зависимости от гнуса обступающего пейзажа. А без каблуков ходить – вообще унижение женского достоинства. В отличие от мужского. Ага. Что слышал.

Короче! Когда мы с Андрюшей дошли до ступенек, я чувствовала себя весьма крепкой. По крайней мере, по контрасту со прошлонедельным Славиком. Не говорю уж: с несчастными захваченными в заложники, изувеченными и приговоренными к смерти крабами.

Но на всякий случай, я все-таки еще раз нюхнула ладони. Перед тем как туда, вниз, шагнуть. Думаю: а вот не буду-ка я рук от лица отнимать. Как противогаз. Ну, разумеется, «ле-сни-ца-ле-сни-ца» говорить про себя буду, и шаги отмерять. А ладони так и оставлю на всякий случай, у носа шалашом.

Андрюша на меня с опаской посмотрел и говорит:

– Лен, руку дать?

– Да нее, ну что вы в самом деле, – говорю, – всё в полном порядке!

А на правом манжете куртки у меня вдруг запасная начка духов обнаружилась – это я туда спрэйнула случайно, когда правой же рукой нажала, впопыхах, флакончик. Я думаю: как удачно! Нюхнула поглубже. Шагнула вниз. Пустилась по лестнице. И тут, видно, третья, матово-ладанная, нота духов докатилась. И – понеслось. Спуская ступени за пределами узких улиц скользящей лентой из-под мысков, тренированных аттракционами школьных лестниц, не отпуская сцепления каблуков. Посланцем страны наездников стылых луж. Не очень-то повыпендриваешься на каблуках в городе, где почти все улицы, начиная от Яффских ворот – собственно, и есть сплошная лестница. Где камни ступеней выскальзывают из-под каблуков, как отполированные черепа. Городе, состоящем из узких лестниц, завешанных уродливыми пеструхами кафтанами шестидесятих размеров – где чувствуешь себя как на гонке по полкам в платяном шкафу, то и дело утыкаясь в ядовитый нафталин. Городе, где скользя вниз по улицам, закатываешься всегда в одну и ту же лузу, с пугающим комфортом. Фристайлом по харасменту сопливых говорливых булыганов, норовящих подробнее взглянуть мне в лицо. И хватающих щелями грязных пальцев полы моего черного платья ниже пола и наспех замотанный иерусалимским твистом бордовый тихэл, а также прочие элементы нацепленной для входа в город противопехотной маскировки хасидских жен.

– Велькам! Велькам, май фриендэ! Вери найсе бизнесэ! Люкэ! Люкэ! Зисэ вей! Зисе вей! Вери найсе бизнесэ! Юре андестэндэ? Ай гив ю зисэ! Зисэ... Энд зисэ! Вэйтэ! Вэйтэ! Донтэ го! Донтэ го! Энд зисэ ольсо! Энд оль май бизнесэ! Ви го ту йорэ хотель! Ван найтэ! Энд ю тэкэ оль зисэ! Вери найсе бизнесэ!

Сильно жалея, что не захватила с собой заодно еще и жезла золотого, разящего. Электрошоком. Массового поражения.

Ладоней от лица все еще не отнимаю. Вдыхаю. И выдыхаю. Раздувая и сдувая ладони, как бронхи. Спасибо Андрюша всю поклажу нес. Как я спустилась – и как завернула потом по переходу, мимо киосков – честно тебе скажу: не знаю. Не заметила. Одно знаю точно: не упала. Упасть было невозможно – поэтому и не упала. Либо толпа понесла, либо Андрюша – это факт. Нюхаю ладони. И плыву по запаху. Шалея от воплощенной обонятельной катастрофы бхара, бахура, кузбара, керфе, фэл-фэла, зохурата, зафрона, мерамиа, иссопа, мирра, испарений и тел. Перебор – по всем измерениям. Даже без золотой измерительной трости геометра-клаустрофоба. Которую приходится заменять локтями. Иммуниетет взломан и почти сведен с ума.

Обонятельные стражи разверстых ноздрей, не выдерживая града камней и стрел, сами бросаются в ров со стен, чтоб не сдаваться живыми. Падая в мягкие россыпи палевых пепельных горчичных пыльных бежевых гранатовых фуксиевых перечных пороховых айвори белых алых горючих гремучих смесей с их дремучими вонючими продавцами.

– Велькам! Велькам! Май фриендэ!

Неба я не увижу – даже если вскину глаза. Долу. Слепая вязь наколки булыжников. Если все-таки вскину – вместо неба только планетарий зеркалец муслиских кипп-ушанок, дрожущих сквозняком животного танца на распятых плечиках света под удушливым шелковым потолком.

– Донт фол, донт фол, май фриендэ!

Распихивая пол руками. Причем, со всех сторон.

Третья нота духов.

Пока не уткнулась в живот обожравшемуся голиафу на перекрестке, орущему:

– Бубликк! Карашо!

И собрав всю силу – отклеить, выцедить себя из толпы в подворотню, переулок, дверь, шкаф, гроб – все равно куда.

Почти упав. Почти. Почти. Зависнув носом над развалом, прилавком, биваком. Где – уже запретное оружие – нос добивают из всех орудий греческим огнем (рецепт давно утерян). Где флакон? Что это? Как они это делают? И, тут посреди гор специй – решительно сорочным взглядом выцепив – обалдев от десертной красоты – горний хрусталь, синий и карий, и нежно фисташковый, припорошенный томной пудрой – в который – выбрала небесно голубой – тут же впилась, вгрызлась зубами, приняв за кристаллизованный подкрашенный сахар. Вызволив зубами, добыв, активизировав, распечатав – почти невыносимый по интенсивности блаженства запах, оказавшийся в тайном союзе с абсолютно запредельной несъедобностью! Канифоль? Крашенная смола? Что это?! Я иду дальше – и уже можно идти по невозможным улицам – и занюхиваю свои же ладони – перебивая внешний агрессивный поток – втягивая запах-вкус-цвет своего кристального трофея и все, что с ним вместе кристаллизуется из воздуха – втягивая и вмеща в себя все это – до одури в висках. Позже долго отчищала зубы, как кадило.

И тут навстречу – какой-то арабский худосочный, виляющий, как сухопутная водоросль, юродивый. Как приклеился ко мне! Я прошла его – не глядя и не отвечая – так нет! – он развернулся, и пропустил за мной трусой. Скачет за мной, догнать не смеет, но и не отстаёт, и подвывает:

– Эй! Э-эй...

Я круто разворачиваюсь. И иду в противоположную сторону. Хотя мне и не туда. Хотя я и сама уже не знаю, куда мне. Юродивый опять за мной! Разворачиваюсь еще раз. Вокруг своей оси. Кручусь. Делаю шаг. Куда? Туда! И случайно наступаю ему на ногу. Этому юродивому! Каблуком. Ёлки! Ну сам напросился!

Он отскакивает. Визжит. Картинно, наглец. Я же знаю, что ему не больно. Так, пококетничать решил. И вдруг оказывается никаким не арабским юродивым, а крошечным поэтом Лёвой Рубинштейном в круглых очках. В переходе под Тверской.

И визжит на меня:

– Девушка! Вы что себе позволяете?! Вы кто такая! Я вас не знаю! Как вы смеее!

Я отнимаю руки от лица – и говорю:

– Лёва! Как я рада вас видеть!

– Да?! И отдавить мне ногу?! Вы кто такая?! Вы что о себе думаете?!

Прекраснейше заорал! Вскидывая руки, растопырив драматично пальцы!

Потом говорит мне, без всяких уже попреков:

– Это – что! Подумаешь – нога! Вы не представляете, какое я сейчас только что страшное объявление на стене прочитал! «Избавлю от живота. Надежно. Дешево. Навсегда!» И телефон! На отрывных листках! Ужас! Русские люди старославянского языка, похоже, никогда не знавали!

А я ему в ответ:

– Лёва, а вы не представляете, где я только что была! То есть, откуда вы меня только что выудили своим визгом! У меня было полное ощущение, что я бегу по Дэвид стрит в Старом

городе, в самый первый свой приезд в Иерусалим. Вы уж извините, – говорю. – Я людей вообще почти не замечаю, когда в толпе. Какой-то защитный рефлекс срабатывает. Хожу как в шлеме VR 3D.

Лёва мне, сделав важную мину:

– Ну уж, тогда, так и быть: наступайте на здоровье. Когда вам вздумается. К вашим услугам.

А я ему:

– Самое смешное, – говорю, – что вы у меня в моей виртуальной реальности полностью совпали с арабским юродивым. Он теперь каждый раз, в каждый мой приезд в Иерусалим, откуда ни возьмись выскакивает из какого-то проулка, умудряется вспомнить меня – и бегаёт за мной, изображая, как я ладони нюхала, и дразнится мне вслед: «Where is the incense? Where is the incense?» Позорище!

Ну и мы расстались с Лёвой. Он пошел дальше, в глубь перехода. Гном. Бородатый.

Андрей всю эту сцену с интересом пронаблюдал с приличного отдаления. Что, в общем-то, было с его стороны благородно: если б Андрей, с его габаритами, подошел вдруг к нам и встал рядом с Лёвой, Лёва бы вообще себе показался Алисой после первого гриба!

Вынырнули – там уже у нас, у арки, аварийка стояла со специальным рифленным сытым хоботом. Ручьев уже не было. Гондольеров тоже. Малые жертвы мелиорации.

The Voice Document has been recorded

from 20:45 till 21:17 on 18th of April 2014.

Короче – то-о-лько дошла до квартиры – после этого-то непростого, согласись, марш-броска – то-о-олько с Андрюшей распрощалась – эсэмэс кликнуло! Я уже мычу от злости, думаю: от тебя опять! Ан нет! «Will be there in 5 min! David». Думаю: ёлки! Как же я могла забыть! Фотосессия же! Еще ж неделю назад назначена! Сейчас же уже этот француз, то ли немец, фотограф припрется! Фоткать для интервью, которое я на прошлой неделе ужасно интеллигентному и ужасно занудному немцу для какого-то ужасно интеллектуального их журнала давала. Фотограф этот крайне туманно мне все про французо-немецкость свою объяснил в и-мэйле, ох туманно. Просил, умолял встретиться засветло – говорит: «Я не люблю искусственного освещения». Ага, думаю: сейчас он у меня получит – все безыскусственное – и освещение, и бардак в квартире, и вот эти вот пакеты с мусором у двери, блин, ну конечно опять забыла взять вынести – и в урну на Тверской незаметненько бросить, когда мы на улицу с Андрюшей шли! А в мусоропровод – вот ни за что! – не пойду: удивительнейшее сочетание запаха, отсутствия света – тактильных увечий от грязной ручки мусоропровода – и сквозняка из выбитой форточки. Стою, одной рукой ресницы сажей мажу, другой – провиант вытряхиваю в холодильник. А сама думаю: может, хурму хотя бы, думаю, успею сожрать, пока он не пришел? Как же, думаю, жрать-то хочется! А?! А вместо этого сама этим мерзким, дихлофосом пахнущим лаком хайр перед зеркалом засэйвливаю – ну так, чисто из солидарности к фотографу. Губы, думаю, красить не буду – обойдется. Потому что с губной помадой я почему-то всегда выгляжу как девушка легкого поведения с Тверской, ага, из Найт-флайта. Думаю... Впрочем, ничего уже больше подумать не успела – слышу: скребется уже там кто-то под дверь, звонок нашаривает – умудрился как-то впереться в подъезд хвостом за кем-то, даже не позвонив мне в домофон!

Прицелилась в глазок: оба-на! Думаю: Это что ж у меня – такой коэффициент искажения в рыбьем глазе, что ли?! Это ж рельса какая-то, а не фотограф!

Открываю дверь – и правда! Фокус чуть сзиповался, но все-таки задел башкой за прилолку, прозудел «шайсэ» вместо «добрый день рад вас видеть» – и заходит до неприличия долговязый лыбящийся во все зубы лохматый оболтус. Не вмещающийся по вертикали в кадр дверного проема.

Голова где-то там на антресолях гостит. Во, думаю! Идеальный формат для моей квартиры с четырехметровыми дореволюционными потолками – обживать неосвоенные вертикальные пространства.

Длиннее водителя Андрея даже! Лохматый, короче, смазливый олух. Двух с лишком метров и двадцати с крошечным хвостиком лет. Крайне, крайне худенький при этом. Джинсы как на скелете болтаются. Ага, ревнуй, любимый. Пока ты там борешься с очередными переменами блюд и жопочасами в ресторанах и нарастающим курдючком.

Я смотрю на него – и думаю... Нет, совсем не то, что ты подумал, милый. Думаю: если через четверть часа он не уйдет и не оставит меня наедине с фруктами – все, кирдык.

Говорю ему прямо в прихожей: «Вы скоро вообще отвалите?» Нет, ну этого я ему не сказала, разумеется – только про себя так произнесла. Ты ж меня знаешь – я ж страшно вежливая.

– Вы, – говорю, – вообще, кто – француз, все-таки – или немец? Я так и не поняла, – говорю, – в вашем лиричном и-мэйле.

А он опять завел свое:

– Вообще-то я немец. Но одновременно и француз. Но мама немка. Но мама с отцом давно развелась, так что можно считать, что я немец.

Я говорю:

– А почему «Давид» тогда?

А он говорит:

– А я вообще Сарой рисковал стать! Если б девочкой родился! Мама из послевоенного поколения. Она меня так назвала в знак покаяния перед евреями.

Я ему говорю:

– Ну ладно тогда. Проходите.

Думаю: ладно, сейчас он пару раз меня сфоткает – и привет вам, радости плоти! Гастрономические, я имею в виду, успокойся.

Смотрю: он как-то подозрительно уже и монументально шатры у меня там свои разбивает у окна – со штативами и золотыми отражателями.

Я – еще строже – говорю:

– И вообще, – говорю, – я друга в гости жду – как только он позвонит – мы с вами расстанемся.

А сама телефончик из кармана достаю и демонстративно так Славику называю: нет, опять абонент недоступен. Думаю: где ж эта шалава Славик-то шляется?

А Давид мне от окна кричит:

– Ладно-ладно! Не волнуйся, не волнуйся – я все моментально подготовлю!

Я смотрю на него: вроде, когда не улыбается – миленький такой шатенистый вихрастый француз – с неопределенно-тинэйджерской нежной бесформенной миловидностью и небесно голубыми глазами, не замутненными раздумьями. Как только осклабится во все сверкающе-белые, чересчур правильные зубы – немец.

– Нашел! – кричит. – Вот прекрасное место для съемок! У тебя такой широкий и огромный подоконник – как диван! Здесь светлее всего! Можно, – говорит, – я туда вот этих подушек пестрых с твоей кровати для фона накидаю? А жалюзи узелком свяжу?

Так, думаю, началось... Нет, это не на пятнадцать минут... Но уж пошла, по-деловому так, со строгой такой, как секундомер, миной – к окну. Сажусь в правый угол подоконника. А подоконник у меня здесь – ты помнишь, с две сёрфинговые доски шириной. А длиной – с полторы. Этот лохматый охломон долговязый то бумажками какими-то в нос мне тычет – свет измеряет, а то попросту свет пригоршнями зачерпывает и пробует. И тут говорит:

– Нет-нет-нет. Так не пойдет. Ты слишком официально выглядишь! Для журнала нужно, – говорит, – что-то домашнее... Ты залезай, – говорит, – с ногами на подоконник, садись

вот в подушки поудобнее – а я пробные снимки начну делать. Расслабься, – говорит, – и забудь, что я тебя фотографирую.

Я злюсь уже сию. Думаю: расслаблюсь я – когда ты провалишь отсюда! И дашь мне спокойно позавтракать наконец. В пять-то часов вечера!

И – чтоб поиздеваться над ним – говорю:

– А я вот, – говорю, – фотографию как-то недолюбиваю. Самый примитивный, – говорю, – способ запечатлеть реальность. Всё на поверхности, – говорю. – Мудро, – говорю, – придумано, что все важнейшие для человечества события произошли в ту эпоху, когда фотографически задокументировать люди еще ничего не могли.

Давид говорит:

– Какие это события ты имеешь в виду?

Я говорю:

– Угадай.

Давид заржал, ослабив все свои супер-белые и супер-правильные. И вьется вокруг меня опять с громадной своей камерой с чудовищно массивным насадным объективом.

– Можно, – говорит, – я вот этот столик тоже отодвину, чтобы мне удобней тут ходить было? А сюда, – говорит, – вот этот вот золотой отражатель поставлю? Не думай, – говорит, – вообще о том, что я тебя фотографирую. Думай, – говорит, – о чем хочешь.

– Спасибо, – говорю, – что разрешил. А то бы я...

Этот лохматый обалдуй ржет и вьется то с одного края подоконника, то с другого.

Потом говорит:

– Нет, так не пойдет: вот, вот отсюда, наверное... Можно, – говорит, – я на твой диван лягу – и оттуда фотографировать буду?

Не успела я ахнуть – как эта рельсина, два-двадцать пять (это как минимум! На глазок!), рухнула на мой диван. Ну, диванчик у меня, как ты помнишь, супер-кинг-сайз, конечно – но не таких же все-таки габаритов! У него ноги по голень не вмещаются – ну, Давид ноги в цветных носках поджал, поворочался-поворочался, подложил себе под голову все оставшиеся подушки, перелег по диагонали – и – довольнейший такой, камеру отложил, расслабленно-блаженно потягивается, уже буквально нежится там, на моем бедном диванчике, и говорит:

– Я только сегодня, – говорит, – ведь в Москву прилетел рано утром! А завтра утром улетать! Спать хочется ужасно!

Я думаю... Нет, даже выговорить тебе не могу, что я думаю...

– Давид, – говорю, – давайте сосредоточимся – у меня еще полно дел. И друг сейчас придет.

Давид говорит:

– Да-да, – говорит. – Отличный ракурс отсюда! – ну и принялся щелкать цифровиком.

Я – что делать уже! – уселась поудобнее, сию, смотрю с подоконника на свою комнату и думаю: как странно – ведь всего этого – всех этих маленьких живых игрушек, которые в этой огромной, удивительной (которую ты так всегда жлобски критикуешь, идиот!) комнате в разное время дня появляются, сфотографировать невозможно – если бы даже этот юный оболтус остался здесь на целые сутки и караулил с камерой! Радужных гусениц, например, которые в солнечный день выползают из среза зеркала белого платяного шкафа. Или – ну не сфотографировать же заводных гуркающих звуков, когда рано-рано утром на карниз ко мне прилетают голуби и знатно, кружась по жестянке и топая, отплясывают, как Донна Рид с Джеймсом Стюартом, чарльзтон. И через секунду – вспугнутые чьим-то резко распахнутым окном – вспархивают – и на задвинутых жалюзи, как на экране (если успеть вовремя разожмурить глаза со сна!), является живая анимированная солнечная лепнина. А летом, если ведро – надо немедленно (не поленившись – во сколько бы ни легла) встать и жалюзи раздернуть – потому что в этот момент расплавленный пятак солнца начинает – медленнейшим жарким метрономом –

плавное дугообразное путешествие из левого угла окна в правый – и можно, нет, даже нужно, опять закрыть глаза – и по жару на лице (транзитом с левой щеки через нос на правую) чувствовать время, как раз чтобы доспать – до двенадцати – когда жар исчезает за правой щекой и кирпичной кулисой дома. А по воскресеньям утром безумный мой дом, изогнутый полуколомцем, улавливает колокольный звон – как колпак нищего – серебро, и мне всегда кажется, что это звуки двух не выживших, крошечных церквей, разрушенных при советах, по правую и по левую сторону, в ближайших рядах домов.

Ну или как сфотографируешь две эти безумные, дребезжащие раздвижные верандные двери посредине комнаты – с десятками деревянных, белых, неровно и густо покрашенных перемычек и маленькими верандными стеклянными окошками, во всю ширину комнаты? Двери, к левой из которых Давид сейчас сутуло притулился с дивана спиной. Вернее – нет, двери-то сфотографировать можно – но все неуловимое, что из них, из этих дверей, мгновенно, в секундном взгляде, выпрыгивает, – как сфоткаешь: все удивительнейшие, живые, щемящие аллюзии, из дверей этих материализующиеся в воздухе со скоростью сотворения мира? Двери, в высоких белых мачтовых перемычках которых сейчас, когда освещение на улице чуть меркнет, мне мерещатся мачты яхт в бухте, не доходя нового порта Тель-Авива – самая последняя светлая точка Средиземного моря: когда солнце в Москве закатывается, невольно рыскаешь мыслями по миру в поисках света. Мачты, если тут же сесть и свесить ноги с причала яхтклуба – открывают сквозь белоснежные жерди свой ослепительный ракурс взгляда на небоскребы набережной: верхние стекла которых, как курсором, активирует беглое, жаркое, живое, заходящее солнце. Весну, знаешь ли, милый, гораздо надежнее приближать в территориальном преломлении – десантом, за три моря – раз в календарном всё никак не нагрывает. Бегство. Даже ценой твоих истеричных звонков и эсэмэсов. Бегство в ту самую точку мира, куда ты за мной не сунешься.

На закат нужно срочно поспеть, взмешивая босыми ногами горячую мокрую горчицу песка по самой кромке моря – добежать в идеальный зрительный зал: на дикий мол – из крупнейших необделанных булыганов размером с быка, на одном из которых всегда натыкаюсь пяткой на окаменелости чьих-то ребер. Нокаутировав телефон с твоими непринятыми звонками, с твоими вопросами: «Gde ti?», – ем на море взглядом беспроводное блюдо семи часов: фруктовое многоцветное слоеное желе, в которое превращается небо, как только светило зависает в пальце от моря. Бумажная бирочка от пакетика чая (высокий штормящий прозрачный капучиновый бокал, который успела, пробегая, стрельнуть в ближайшем кафе) бьется на ветру, взлетая, как крыло парашюта – и вот-вот вытащит из воды чудовищно тяжелое, красящее горячую воду со скоростью закатного солнца, чайное грузило. Не хватало еще, чтоб упало в море. Я за последствия не отвечаю.

Зрители в сборе. Завсегдатаи вокруг, на камнях. Растафари в красной бандане, жонглирующий огненными факелами. Хиппанские парочки. Четверо музыкантов, с неопознаваемыми экзотическими инструментами, взбирающиеся на мол с разных сторон. И много аутистов, задумчиво обнимающих собственные колени.

Когда жженое громадное солнце, наконец, касается моря, и море вскипает вишневым и апельсиновым, одинокий хиппан-барабанщик в самом дальнем, в море вдающемся конце мола не выдерживает молчания красоты и начинает дробно и сбивчиво гнать озвучку.

Красота закатного неба, как будто бы запечатлевшая на себе взгляд Бога. В сравнении со здешними небесами – закаты на Гоа и Мальдивах – лишь дешевая светомузыка пьески Боба Уилсона.

Если бы я составляла апокриф, то сказала бы: не может быть, чтобы Господь, исходивший всю Иудею, Галилею и окрестности вдоль и поперек, проделывавший пешком сумасшедшие расстояния – не дошел до Яффы. Красота здесь пропитана Его взглядом, Его Гением.

И так мучительно хочется поскорее собрать, из прохожих, вот здесь, на набережной, на пути к Яффе, как сборный конструктор, все эти носы с Божьим акцентом, все эти губы, как резкий взмах горличьих крыл, все эти удивительные, для неба вручную созданные глаза – родных Господу по крови и плоти – чтобы представить, увидеть, оживить вот тех вот безумцев-храбрецов, первых учеников Христа из евреев, пошедших за Мессией, отвергаемым мешчанской массовкой и коррумпированными священниками.

В Яффе, на самой горке, в кофейне с деревянными верандными окнами во всю стену – и с другим, особым окном в обрыв, в ночь, в море – с противоположной стороны, на верхнем этаже (никогда не устану изумляться, как резко – сразу же после заката, весь город накрывают черным клобуком), – владелец заведения, ливанский выкрест Морис (смуглое маленькое лицо, облитое лоском), забыв про клиентов, режется в шеш-беш с мощным, мелко-пружинно-бородым отцом Дамаскином в рясе (из монастыря, прилепленного к горе, со стороны моря, как гнездо в вертикальном лабиринте каменных лесенок шириной с локоток): Морис играет вяловато – священник же хрястает фишками по сверкающему инкрустацией лакированному дощатому игровому полю с азартом – и судя по всему выигрывает.

Мимо распахнутого в полморя западного окна (единственный объект притяжения – не за едой же и питьем сюда заходить – хотя где-то ведь здесь же, едва ли не в этой же точке, апостол Кефа когда-то, на плоской крыше чужого дома, видел выразительные прозорливые гастрономические видения, с голодухи), мешая взгляду, заставляя резко вдергивать голову, шараясь – шныряют мускулистые летучие мыши – где-то за ближайшим каменным углом устраивающие блевотно крикливые и драчливые случки – подтверждая неприятнейшую, в темноте, догадку, что не всё ангел, что с крыльями.

Давид говорит:

– А теперь close-up! Close-up! Еще close-up!

Я от видений очнулась, – смотрю: а этот оболтус-то не просто уже от сонливости на диванчике моем отлежался – не просто к моему подоконнику подошел, – а уж просто нагло надо мной барражирует – и все приближается, и приближается, с каждым кадром!

– Ближе! – говорит. – Еще ближе! Еще ближе! – и уже буквально навис надо мной – в расстоянии хурмовой шкурки.

Я говорю:

– Давид, – говорю, – ну вот почему, скажите мне, все западные фотографы так обожают разыгрывать из себя Хеммингса из «Blow up»? «Работай, детка, работай».

– Ай, шайсэ! – говорит, – и, гогоча, ничуть не смутившись, но слегка расстроившись, отстранился сразу. – Неужели, – говорит, – ты тоже этот фильм смотрела? Крутой, да? Неужели я не один такой? Шайсэ! – и гогочет. Вихры смахнул – и глазеет на меня. – А я надеялся, – говорит, – что фильм такой старый, что никто кроме меня его не видел.

Я говорю:

– Долго еще?

Давид опять на диван с размаху – палюх! И переспрашивает:

– А что, ты куда-то разве торопишься?

В общем, любимый, когда ты меня ровно в этот момент эсэмэсками бомбить начал, «где я» – да «где я» – мне уже не до того было. Мне бы уже – ну вот без всяких шуток – мальчика этого спровадить поскорее – и съесть наконец хоть чего-нибудь! Кроме того – чувствую, что то ли с голодухи, то ли из-за этого дурацкого высиживания под Давидовой фотокамерой, Москва вообще начинает катастрофически ускользать у меня между пальцев. И как-то уже начинаю маниакально обшаривать в воображении весь земной шарик, как собственный холодильник, в поисках хоть какого-нибудь подходящего съестного. Хумусу у Мориса на горке в Яффе? Или чуть спуститься (мимо старой башни с застрявшими часами, возле которой южные голуби сонно кричат: «Ку-да пошла? Ку-да пошла?») – и дальше – забежать в... ох, нет, даже название

не могу спокойно произнести – потому что даже от названия умопомрачительно разит горячим свежее испеченным при мне же в печах хлебом: в А-бу-ла-фью... Где, кстати, – в соседней грязненькой забегаловке можно, вполне можно было бы сейчас прихватить еще и свежей тахинной халвы – нанизанной гигантской головой, как бескровная веганская шаурма, на вертящемся вертикальном метровом шампуре. А ты мне: «Где?! Где?!» Уверяю тебя: вот разве что мизерная, меньшая часть меня (которой можно в общем-то пренебречь) сидела в тот момент жопой на этом подоконнике! И как мне тебе было описать, не соврав в чувствах (даже если бы я не зареклась с тобой разговаривать и не объявила бы эмбарго на эсэмэски!) – «где я»?! Кроме того, любезный: ну не верю я в пошлый человеческий миф о территориальности! Город должен прорасти в тебе, чтобы ты смог в этот город войти. Это единственный способ войти в город. Что, впрочем, не исключает такого прекрасного (но тоже абсолютно отдельного, абсолютно ни с какой лживой идейкой о территориальности не связанного) жанра, как путешествие: ох, как же я люблю этот блаженный миг, когда прильнув в самолете к иллюминатору, вырываешься сквозь московскую scarlatinu облаков, вослед всё более и более внятно – а вот уже и ослепительно – светящему фонарику ухогорлоноса! Выключив всё: привычное, наладонное, милое. И только этой ценой вырвавшись. Оторвавшись от магнита. И не дождавшись пледа. Околевавшая около круглолицего, веснушчатого лика иллюминатора. Зато дальше – целых четыре часа десерта. Ломаные плитки шоколада: черный, горький, и обычный, молочный. В фальшивом скомканном золотце речушек. И дальше – отроги чуть подстывшего капучино с капюшоном крошеной корицы. И дальше – неприлично густой кипящий какао. С комьями пенки. Сахарная вата, с правдоподобными проталинами. Ноздреватый молочный сахар. Подтаявшая помадка – фруктовая ли, губная ли – ядреная. Рядом – томлёное масло. И – глазурь кулича, с просвечивающим снизу, с испода, подгоревшим изюмом Измира. А потом – просто чаю. Огибая аэрозольную приторную пенку над Кипром. Лишь мимолетом взглянув в невнятное битое бутылочное зеркало лужицы. Взяв чуть выше, по сахарно-ватной тропе.

И – вот уже! наконец! – как в приближающейся с бешеной скоростью лупе: картинки под легчайшей, почти невидимой калькой облака, под дымчатой самокруткой бумаги. Сдуваемой бризом. Уже еле сдерживая хлынувшие от близости земли слёзы на накрённом, ламинирующем картинку иллюминаторе. Сдернув последнюю муаровую облачную фату, крепившую в один ослепительный пучок бесконечно зацикленную на себе тригонометричную радугограммы морзянки золотом простроченных волн парусников и ладей – и неудержимо, ближе, еще ближе, к картинке, уже неправдоподобно быстрых, недопустимо близких, уже ручных рыб, навзрыд и навывлет вышивающих морскую слюду обезумевшей телеграфно-швейной машинкой. Напоследок заархивировав чью-то перистую текстологию взмаха, как роспись. И потом уже – прямо на абордаж Шератона. Нет, выше. Чуть выше. Промахнули. И слёз на иллюминаторе уже не сдержат. Потому что солнце слепит. Потому что ослепило иллюминатор невообразимой красотой. Потому что высотные башни на набережной – как сверкающие зубы с разноцветными брекетами. Со стоматологической скобой волнорезов, чрез которые все равно набегают весной бешеная средиземная слюна. Потому что соленые дёсны – под Средиземным морем – что сморщенные подушечки пальцев ребенка. И небоскребы видны, что рослые кедры, не только из Дамаска, и Бейрута, и Тегерана, но и из гиблого виртуального Вавилона, увы, в баллистический прицел откровений. И каждый раз до слёз хочется увидеть все это еще хоть на секунду – успеть, пока прицелы пророчеств не сработали.

Давид говорит (вальяжно так, с дивана опять):

– А какое же кино тебе тогда нравится?!

– Никакое, – говорю, – не нравится. Это ж не великий немой, а великий слепой! Ничего за видимым миром не видит! Несмотря на всю, вроде бы, «зрелищность», на миллионные бюджеты, шикарные декорации и антуражи. Удивительно, – говорю, – бесплодный жанр получился. За весь прошлый век существования кинематографа, фильмы, которые действительно

можно было бы назвать высоким искусством, можно сосчитать по пальцам на левой руке покойного первого президента России. А уж в этом веке – и смотреть-то стыдно. Упражняются, каким бы еще изощренным, неотыгранным конкурентами способом, героя убить – и как бы еще поизвращеннее в дорогих антуражах кого отыметь. Мега-дорогая дешевка. Унылая ярко-безмозглая жвачка для животных.

– Тебе, – говорит, – наверное, артхаус кино нравится?

– Ненавижу, – говорю. – Фальшиво дергающаяся фальшиво бытовая камера с плеча, уныло снимающая про серую безвыходную бытовуху. Главная идея от первого и до последнего кадра: смотрите-ка, мы снимаем арт-хаусовское кино! Глубже социальной чернухи, эмоций и чувственности никто не копает. Такая же продажная штукавина, как и мейнстрим – только подлаживаются под более узкий и вполне определенный круг зрителей: левачествующих прыщавых молодых людей в нестиранных свитерах и их лесбийствующих подруг. Дальше откровений типа: «ё-моё: на свете есть бедные, убогие, несчастные и ужасные люди!» – никто из них не идет.

– А Heineken, Heineken, – говорит. – Разве тебе не нравится Heineken?!

– А Хайнеке я бы вообще, – говорю, – все лампочки бы поотрывала!

– Что-что бы ты, – говорит, – ему оторвала?

– Ничего, – говорю, – просто такая русская идиома, прости, если я неудачно ее перевела. Человек, который способен в своем фильме заснять, как петуху отрубает голову, по-моему, вообще должен быть сразу лишен права на профессию. За попытку компенсировать собственную бездарность чужой кровью. У меня такое впечатление вообще, что человечество зарезало петуха – чтобы не слышать больше его кукареканья под утро и не мучаться комплексами вины.

И тут Давид аж встрял из лежачего положения на диване в сидячее, и с загоревшимися глазами мне говорит:

– Я тебе сейчас расскажу что-то, чего никому не рассказывал. Я... Был вегетарианцем, представляешь?

– Не может быть, – говорю.

– Может! – говорит. – Будешь надо мной смеяться за это? Презирать меня за излишнюю чувствительность будешь?

Я говорю:

– Конечно буду. Учитывая, особенно, что я не просто вегетарианка – а веганка.

Давид говорит:

– Не может быть! А как ты думаешь: душа у животных есть?

– У меня, – говорю, – есть один друг азербайджанец, удивительно честный, порядочный, чувствительный человек – знаешь, такая думающая, пишущая старо-приезжая московская интеллигенция. Он мне рассказал, как в детстве у него был ручной барашек – он его растил из ягненка, имя ему дал – ну то есть как с собакой домашней дружил с ним. А потом родители ему говорят: мы доверяем тебе большую честь – зарезать этого барана, потому что ты уже стал юношей.

– Какой ужас... – Давид говорит. – Неужели он зарезал?!

– Да, – говорю. – Но это еще не все – он мне в красках рассказал (потому что чувствительный все-таки), что у этого его ручного друга-барашка, когда он его резать приготовился, из глаз слезы потекли! Можешь себе представить?! И он все-таки зарезал. А резюмируя всю эту историю этот мой, вроде бы, друг-интеллектуал мне убежденно так сказал: «После того, как я его зарезал, мне, – говорит, – старшие объяснили, что у животных нет души. А плакал барашек просто от рефлекса». Я этого своего друга спрашиваю: если ты считаешь, что у животных нет души – как же животные могут тебя любить? А он говорит: «Ну, это не душа... Это... Не могу тебе объяснить, что... Но это не душа. Мне так объяснили. Нет у них души!»

– Ужас... – Давид говорит. – Но как же он...? Зачем же он...?

– А просто, – говорю, – никогда не надо слушать родителей и старших, если они собираются кого-то убить или тебя просят это сделать. Хоть раз надругаешься вот так вот над своей душой – и всё – душа уже в рабстве на всю жизнь. Душа человека ведь очень быстро коррумпируется в этом падшем мире, поработается им – и коррумпированные миром, более старшие люди, ветераны этого падшего мира – быстро учат чистую душу, как надругаться над своей инстинктивной, еще не запачканной, богозданной чистотой и добротой. Ведь у всех детей есть вначале врожденное богозданное инстинктивное отторжение и отвращение от убийства животных. Не говоря уж – от убийства людей. Ну кроме извращенцев, одержимых сатаной.

Давид даже с дивана соскочил – стул от моего компьютерного стола взял, и напротив меня уселся:

– Ну а ты, ты сама как считаешь? – говорит. – Есть у животных бессмертная душа – или нет?

Я говорю:

– А чего тут считать: ты бы, если бы был благим Богом, разве бы позволил душе хоть одного живого существа безвинно сгинуть? Богу отвратительна смерть живых существ, Богу отвратительны убийства. Убийства и смерть – это полностью сатанинское изобретение. Сказано же: «Бог не творил смерти и не радуется гибели живущих». Убийства – это сатанинское хобби падших людей. А Богу это глубоко противно – Бог уже еле-еле все это терпит, заткнув с омерзением нос и отвернувшись. Но в какой-то момент Бог все это терпеть перестанет – как и предупреждал. Вон, – говорю, – возьми там у меня на книжном стеллаже книжку – Фомы Лондры, современный канонизированный недавно святой – там на английском – никогда не читал?

– Нет, – говорит. И даже с места за книжкой не тронулся – сидит: на перевернутую вперед спинку стула руки крестом сложил – вылупился на меня небесно голубыми своими глазами. – А что это за святой такой? Никогда не слышал!

– Фома Лондра! – говорю. – Неужели даже имя не слышал никогда, в своей Германии? Позор, – говорю. – Он коптской и армянской церковью канонизирован – он у коптов в Египте стадо дромадеров, молитвой, от чумы вылечил, двух женщин-американок от рака вылечил – ну и еще несколько явных чудес сотворил. Мальчонка такой молоденький был, исцелял людей и животных молитвой и именем Господним. Нищий бездомный проповедник странствующий. Недавно без вести пропал в Египте – после этого его канонизировали.

Давид, смотря, разулыбался – и говорит:

– И, что, этот Фома Лондра считает, что души животных бессмертны?

Я говорю:

– Ну возьми да почитай! – говорю. – На немецкий книжка, по-моему, еще не переведена – так же как и на русский. Но по-английски-то ты, говорю, поймешь прекрасно!

А Давид говорит:

– Ой, не люблю я читать! Ну скажи: да – или нет?! Бессмертны?!

Я говорю:

– Ну во-первых, – говорю, – еще апостол Павел, по дарованному ему Богом откровению, ясно сказал, что вся тварь, по вине падшего человека мучающаяся и стонающая от уязвимости и смертности, будет освобождена из рабства тлению в свободу нетленной славы детей Божиих. Эту цитату, – говорю, – Фома Лондра даже эпитетом к своей книжке взял!

– Это значит: бессмертны? – Давид аж со стула вскочил – во весь свой гигантский рост.

– А во-вторых, – говорю, – Фома Лондра там пересказывает известное довольно среди православных видение одного старинного старца, который был весьма встревожен этим вопросом – вот ровно тем, который ты мне задаешь – и непрерывно вопрошал об этом Бога. И в конце концов, из-за своей неотступности, был удостоен видения: был вознесен на несколько мгновений на седьмое небо, где увидел в прекрасном саду гуляющих изумительных неземных существ – полупрозрачных, но одновременно окрашенных в дивные переливающиеся нежные

цвета, и воспроизводящих какие-то изумительно красивые музыкальные звуки. Старец сам в себе подумал: «Господи, что это?!» И тут же появился святой ангел и говорит ему: «А это души животных – так, как они на самом деле выглядят в раю». Старец говорит: «Так значит, они бессмертны?!» А ангел ему: «Вы бы, лучше, несчастные, о своей душе переживали! Животных-то беззащитных, которых вы там мучаете, Бог защитит, и все их муки с вас взыщет». Фома Лондра, – говорю, – никогда мяса не ел – как настоящий православный монах. И вообще почти как монах жил, как странствующий монах.

– Ух ты! – Давид говорит. И опять на диван со всего размаха, счастливо уже, лежа во весь рост, на спину, плюхнулся. Пестрые носки опять торчат, не вмещающиеся.

– А сам, – говорю, – Фома Лондра от себя добавляет: «Подумайте, – говорит, – скольких отчаявшихся одиноких людей животные, любящие их, спасли своей любовью от самоубийств. Ни один человек стольких спасти не в состоянии. Так что многие животные служат Богу даже в миллион раз лучше, эффективнее и бескорыстнее, чем человек».

Тут Давид, схватив с дивана камеру, неожиданно вскакивает и кричит:

– Вот! Вот теперь я должен тебя сфотографировать! Не меняй выражения лица!

И давай камерой шелкать.

Вижу – его распирает просто – чем-то щегольнуть передо мной хочет – и давится. Потом – решил – и, не прекращая туда-сюда со своей камерой бегать и фоткать, говорит мне:

– А я...! А я, знаешь, с настоящими аутистами работал! Вместо армии! – и забегает со стороны компьютерного стола, фоткает: – Ну, знаешь, альтернативная служба! У меня один подопечный был – я не мог его ни на минуту оставить: я не мог его даже в машине запереть и оставить одного – он бы все вдребезги разнес и поранился, пытаюсь немедленно из этой машины выбраться. Я за ним ухаживал, как за маленьким! А еще он любил, чтобы я ему шнурки на ботинках завязывал очень-очень туго: тогда он был спокоен, что все в порядке, что ничего не случится. Пожалуйста! Вот сиди так, не двигайся! Пожалуйста, ну потерпи меня немножко еще! Еще несколько снимков! Твой друг же еще не звонит! Не прогоняй меня! На меня только-только вдохновение нашло! Я его в коляске инвалидной возил, представляешь!

Я говорю... Нет, я молчу.

Я иду по Таэлету, в унисон с ветром и морем, а направлении Яффы. Я выгуливаю старика Паркинсона, соседа по отелю – скорчившегося – гигантским зародышем, реэкспортом из Америки, в инвалидной коляске. Камушки тротуара ядрены – похожи на засахаренные увеличенные тахинные семечки – и в ноль уделывают шпильки моих каблуков. Я вожу его по набережной мимо пальм, вцепившихся на ветру в ярости пальцами себе же в волосы, – в детской складной коляске вундеркинда с обвисшим сиденьем из парусины – какое собачили к падучим раскладным советским козеножкам-табуреткам, носимым предусмотрительными старухами к заутрене, длящейся всю ночь. Он не смог бы управлять даже мото-истребителем, на которых здесь носятся инвалиды, с азартом сбивая здоровых прохожих и раздавая им затрецины. Он не умеет пользоваться даже здешней волшебной игрушкой: шабат-элевэйтором – для ортодоксальных гостей – лифтом, который по субботам и пятницам останавливается, без спросу, на каждом этаже отеля, чтобы не осквернить ни мизинца электрической кнопкой.

Я устала: довольно тяжелая эта прогулка – толкать впереди себя живую недвижимую. Я торможу и, как цапля, стою то на правой, то на левой ноге – давая то одной, то другой отдохнуть – с мороком отворачиваясь от аутентичных носов, посекудно любезно предлагающих себя в попутчики. Парализованный старик и чеснок – натошак – единственный щит от вас. Да и то – как выясняется – без гарантий. Я балансирую, как цапля. Хасида на променаде. Я прикрылась от тебя жидом-паралитиком. Этим мирским отстрелянным телом складного кузнечика; по абрису, так обманчиво, до безумия похожим на римского Джона-Пола-Второго в старости, с головой вместо обратного слэша, из правого нижнего в левый верхний – на прогулке по набережной из своего сидячего катафалка на колесиках могущего подглядывать на

меня и дисплей моего телефона лишь по диагонали. Когда я делаю остановки его колесницы и читаю в телефоне твои вопли.

«Gde ti? Napishi mne shto-nibud'!» Щазз. Я раздавила твой sms. С писком. Впредь я буду убивать их, прежде чем они вылупятся, не читая.

Сначала я думала, что это из-за моего скверного английского, потом поняла, что он просто давно уже сбрендил:

– Мир меняется. И глобализация процессов такова, что главное – это зубы.

Которых у него нет. Он никогда не доучит иврит, а на родном американском он может уже только плевать.

Никогда никто не узнает, откуда он здесь, в моем отеле. Но все подозревают, что навсегда. Он произносит еврейское «нет» скорее как английское «низко», чем как американский «закон», лучшим знатоком и практиком которого, говорит, он, задолго до моего рождения, слыл – на первой-второй-третьей рассчитайсь родине. Весь книжный магазин Steimatzky с Дизенгофа скоро перекочует в его номер. Он живет старческой причудью, что мир можно изменить прямо здесь и сейчас, в кафе гостиницы. И желательно на деньги правительства. Тиран гостиничных завтраков, заставляющий каждое яйцо чокаться с каждым скорпионом.

– Хай! Элиана! – (у меня ушло пару минут, чтобы понять, что когда он из-за своего столика на завтраке кричит: «Элиана!» – смотря куда-то в неопределенное пространство – это он зовет меня.) – Хочу познакомить тебя с американским волонтером из Флориды, фиксирующим здесь танки в базе Sar-EI!

Зачем, интересно? Чтобы мы начистили друг другу гусеницы? Долго не могла смекнуть, что «Вовован» в его исполнении – это Первая Мировая.

Он уморит меня небылицами о Великой депрессии:

– Я не помню, что я ел вчера. Но в Нью-Йорке они воровали сиденья из старых чужих автомобилей – и спали в них как в креслах. И это был их дом. Моя мать и отец! И они были свободными как вечность! И это было великое время! Великий взрыв! Вызов! Можно было даже купить огромный дом за несколько долларов – который сейчас стоит миллионы! Но у них не было даже на булку. А потом – мой отец вдруг сказочно разбогател! Угадай как?! И никаких забастовок в Чикаго: гангстеры держали профсоюзы в узде! Порядок!

Он все путает. Старый идиот. Хронический паракхронизм.

– Но потом он разорился опять – так же быстро, как разбогател!

Он до жути завидует моей гипотетической возможности грешить. А я – его гарантированному физическому безгрешию.

Мать старика Паркинсона из местечка в Польше под Краковом.

– Знаешь – штэтлз? Такие – штэтлз! Нахон?

Похоже, у них там, в Польше – штамповочный завод по сворачиванию старикам голов набекрень. В рассрочку. На восемьдесят лет.

Говорит, что отец его был русским, но вовремя дернул в Штаты контрабандой на сухогрузе. В трюме где-то между двумя революциями.

– Знаешь, была одна женщина в Штатах. Лет уж пятьдесят назад, наверное. Кто был тогда я – блестящий юрист, красавец, а кто была она? Просто сумасшедшая художница, любившая меня до безумия. Она очень страдала из-за моих измен. А я – не то чтобы я не понимал: я все чувствовал... Но просто я жил, отрицая необходимость выбора: думал, что вот сейчас нагуляюсь, еще годик, два, пять – а потом уж вернусь к ней, одной, единственной, любимой, любящей, только моей. А через год со мной случилось... Вот это. И... я был слишком горд, чтобы хоть когда-нибудь после еще показаться ей на глаза в таком виде. Я спрятался. А потом и вовсе перебрался через океан. Уполз. Зарылся. Закопался в песок. Ты видишь. Мы никогда больше не виделись.

Такое впечатление, что этот урод сидел и ждал меня здесь, в фойе отеля, всю жизнь, чтобы хоть кому-то вплюнуть все это чернилами каракатицы в ухо.левой парализованной клешней, вернувшейся в эмбриональное состояние, он не смог бы записать – не то что своей истории: даже своего имени – даже если был бы левшой. Моя первая учительница была бы довольна.

Гостиничная кухарка Нина – дородная коротко бритая седоватая казашка родом из Советского Союза, в матроске-безрукавке, с большой головой, черными щеками и говяжьими предплечьями (уверяющая, зачем-то, что она – еврей) – нутряно ненавидит инвалида: за то, что он нищ, гол как сокол, за то, что проживание его в отеле финансирует правительство, из пособия, за то, что отель ему, на ее завистливый взгляд, достался слишком роскошный – у моря, за то, наконец, что заказывает он себе, в неположенное время, плюс к завтраку, сидя в общем зале, за деньги, еще и тель-авивский, мельчайшей порубки, салат из огурцов, помидоров и лука. Поднеся ему блюдо, обслужив его, шипит затем кухарка непрерывно с ненавистью, выглядывая из-за угла, тихо, на-русском: «Он слишком многого хочет! Хочет жить как человек, как гость! А его место – в бейт-авод! А не в отеле!»

Я вскакиваю с подоконника, и говорю:

– Давид, кроме шуток – давайте заканчивать уже. Если честно – я просто уже сейчас умру от голода.

А Давид говорит, так заинтригованно:

– А что у тебя есть поесть?!

The Voice Document has been recorded

from 21:22 till 22:02 on 18th of April 2014.

Я, уже на Давида не глядя, рванула к холодильнику. Давид – за мной. Уселся за мой прекраснейший древний расколотый круглый обеденный стол с качающимися ножками, накрытой ярко-золотой глянцево-клеенчатой скатертью – и в восторге мне говорит:

– Вау... – говорит. – Это же у тебя почти как мой золотой отражатель! Даже гораздо больше в диаметре! Если бы, – говорит, – я отражатель забыл – я бы мог эту сверкающую клеенку использовать!

Я говорю (решив использовать для выкуривания его из квартиры надежное оружие):

– Давид, я бы, конечно, угостила вас... Мне не жалко. Но я собираюсь делать салат. А в салат я кладу очень много чеснока. Так что...

А Давид мне:

– Прекрасно, – говорит. – Я очень люблю чеснок!

И с места не двигается.

Ну, я уж плюнула на приличия, достала листовой салат, побежала его мыть. А салат оаклиф ведь даже не мыть – стирать надо! Я стою, выкручиваю, выжимаю его, как стиранные полотенца для рук – и смотрю на пристывший над раковиной к кафелине архиоптерикс петрушки, как изразец – и думаю: «Хорошо, что этот мальчишка детали быта фотографировать не умеет. А то бы пропозорилась на весь интеллектуальный журнал!»

Давид мне, такой задумчивый, локтями на золото стола оперевшись, говорит:

– Я никогда, – говорит, – ни о чем таком ни с кем до этого в жизни не говорил... Как странно...

Ну, я, не слушая, гигантскую пятилитровую прозрачную салатницу на стол, и давай на доске (в виде банджо) уже все подряд кромсать: и помидоры – очень много помидор! – и оаклиф, и очень горький бордовый салат Radicchio, и пожар в дождевых лесах Амазонии Lollo Rosso, и легкий морской бриз Frisée, и простенький круглый салат Lamb, и плотный, как сырой шпинат, салат Romano – и чеснок, чеснок, чеснок – две головки (потому что на двоих же!). Хлестнула маслинного масла. Щепотку sal sapientiae.

А Давид уже облизывается сидит:

– Можно, – говорит, – я уже вот себе на тарелку... – и, не дожидаясь ответа, пока я еще зазевалась, салат размешиваю, кинул себе деревянными ложками ну вот буквально гору на тарелку – и в секунду! в секунду! – съел.

– Можно мне, – говорит, – еще?

Я думаю: «Тааак, – думаю, – не поесть мне сегодня!» Но, все-таки успела – на объедки – перед тем как Давид себе третью порцию, подскребя все по сусекам из салатницы, положил.

– Нет, – я говорю, – мне не жалко – на здоровье, я очень рада, что тебе понравилось! – а сама кошусь уже на холодильник. – У меня говорю, в крайнем случае, еще и фрукты есть. Мне будет чем наесться...

А Давид, воодушевленно так:

– А какие у тебя фрукты есть?! Я, вообще-то, – говорит, – фрукты не люблю, я просто так спрашиваю, из любопытства.

Я думаю: «Как удачно! Значит, можно доставать фрукты, не опасаясь. Хоть этим наемся!»

И, в общем, излишне расслабленно, надо сказать, достаю из холодильника хурму.

– Фрукты, – говорю, – просто надо уметь грамотно считать! Вот хурму, например, нужно разрезать строго поперек – видишь?! – говорю, – сразу открывается послание: почтовый мальтийский знак. Эдакий выразительный mms от Господа!

Давид у меня хурму взрезанную из рук – хватать! И съел.

– Надо же! – говорит, – я никогда раньше не замечал. Даже вкусно, надо же!

Я смотрю: Давид как-то уже разнежился, поплыл, своими небесно-голубыми глазами играет, волосы свои лохматые застенчиво ворошит, и уходит никуда не собирается...

«Ох, – думаю, – не надо его было кормить... Ох, не надо... Кулинарный путь к сердцу мужчины и так далее... И вообще, – думаю, – не хорошо как-то получилось: охмурила случайно бедного мальчика запредельными разговорами, а мальчики ведь интеллектуально и духовно гораздо позже девушек взрослеют – поэтому его двадцать лет с хвостиком – это же эквивалент девичьим восемнадцати, не больше... Ребенок! Жуткая безответственность с моей стороны. Надо, думаю, его выставлять за дверь поскорее!»

Взглянула на мобилу: одиннадцать вечера!

Я говорю:

– Давид, я закажу тебе такси.

Иду звонить к окну, где у меня сигнал мобильного лучше. Этот оболтус идет за мной и телефонную трубку выхватывает у меня, чтобы я позвонить не могла. И с жалобным взглядом говорит:

– Ты уверена?

Я говорю:

– Совершенно уверена. В каком районе твой отель?

Короче, вышла его провожать к такси.

Вышла – смотрю – слева от подъезда курильщик топтунского вида торчит: я надеюсь, не тобой подосланный, милый? Но если даже тобой – тем лучше: значит он видел исключительно дружеский мой прощальный поцелуй в Давидову щеку (склонился, каланча).

Короче, как только такси отъехало – я на два шага отошла, пытаюсь хоть глоток свежего воздуха найти; вверх смотрю в расщелину неба между домами – чувствую голова уже от голода кружится; я думаю: «Где же Славик-то? Ё-моё!» – а вместо свежего воздуха жуткий ветер – и сигаретный дым.

Я сижу на цветущем диване, в насквозь продуваемом, вытянутом, до краев полном солнца фойе отеля, справа от чисто декоративного маленького гладкого пианино, на котором никто никогда не играет. В левой дальней (в кафе плавно переходящей) части фойе, где оди-

ноко (тщетно пытаюсь прикормить крошками, выпадающими изо рта, высоко вспархивающих с шелестом из плохо действующей правой пятерни одна за другой чумазных птиц Naaretz) у кубического столика доедает свой второй завтрак инвалид в коляске, белые занавески на застекленной, расстекленной, распахнутой стене (превратившейся в турникеты для ветра), играют в паруса. Вай-фай, с милым, местечковым раздолбайством, не пробивает на мой пятый этаж – и приходится каждый раз за интернетом спускаться сюда. Портье Charlie (его стойка рецепции в фойе напротив), низенький еврей, сбежавший (еще в прошлый заезд диктатур) из Египта, вместе с табачной трубкой, от скуки и хлещущей через край общительности поддуливает ко мне и, дружелюбно куря мне в рот, наклоняется над моим лэптопом:

– Эли! Ведь тебя же здесь продует! Руах працим!

Забавней всего в этом моем почти домашнем уже отеле – метаморфозы, которые, в зависимости от слуха, национальности и настроения каждого, продельывает, за какие-нибудь несколько минут, мое имя.

– Эли, что ты пишешь здесь все время в своем компьютере?!

– Фугу. Фугу пишу, Чарли. Вали-ка обратно к своей рецепции, со своей трубкой.

– Смеешься надо мной! Какая же это фуга?! Я же ведь знаю русские буквы! Вон – си, би, дельта, игрек, икс! Это же буквы – а не музыкальные знаки!

– Слушай, Чарли, сегодня у моря, по пляжу какой-то лунатик в наушниках ходит со щупом миноискателя вокруг кафе и клюет песок. Что, на пляже теперь тоже взрывные устройства закладывают?

– Ты слишком хорошо о нас думаешь! Это не миноискатель. Он монеты ищет, а не бомбы. И золотые кольца, которые купающиеся все время в песке теряют! Это – отличный бизнес! Иди на пляж! Не бойся! А то тебя здесь продует! Руах працим! Только ничего не теряй!

Я жмурю глаза. Нет, голова все-таки слегка кружится. Чарли с вонючей трубкой – и разлившийся по фойе флакон благовоний средиземной весны.

Я звоню Славiku: выключено. Да что ж такое? – думаю. И уже волноваться начала. Думаю: Славик, конечно, у меня мастак опаздывать – единственный человек в мире, к которому я на встречу, с чудовищными моими опозданиями, имею шанс прийти более-менее вовремя. Бывало, бывало, что опаздывал Славик на час, на два – и приезжал на тусовку, уже когда я давным-давно оттуда сбежала, – но не на целый день же? А в последнее время у Славика моего еще и не только со временем, а и с местом проблемы начались: Славик, с его раздолбайством, забывает, где мы договорились с ним встретиться – в каком кафе или ресторане. А Славик же по городу ходит – это видеть надо: замечается, забудется, увлечется побочным каким-нибудь переулком, мыслью, звонком, – и приходит в какой-нибудь жлобский Pierre Gagnaire, вместо того, чтобы доехать, скажем, в счастливо-безлюдную забегаловку – как мы договорились – и потом капризно начинает мне названивать, и вопрошать, почему я еще не там, и жаловаться мне на меню. Поэтому единственная верная возможность все-таки встретиться – это назначать встречу у меня дома, чтоб Славик, помноженный на свои опоздания и расслабленность мыслей – все-таки до меня добрался.

Короче: уже волнуюсь не на шутку! Пошла к себе в квартиру, а в квартире же у меня прием мобилы жуть какой плохой – дом же как крепость! – полуметровые вековые кирпичные стены никаким спутником не прошибешь (надеюсь, твои жучки-шпионы тоже все время глючат!). Ну и я через минуту опять Славiku начинаю названивать. Взлезаю на подоконник, чтобы поймать сигнал – высовываюсь (вместе с мобилой) по пояс в окно – и вижу, что на белоснежной стене моего отеля (стене вида какушек местного мягкого сыра cottage), рядом с окном моего номера – не сотни, а тысячи Божьих Коровок! Праздник бьется в стекло. День воздушно-десантных сил летающих мухоморов. Улыбчивых. Красных, в черную крапинку. Парад эскадры рабэну Моисея (коровами коего евреи, как похвастал мне вчера Чарли, местечково кличут эту Божью движимую, лётную собственность). Смайликов-бомбардировщиков. Инте-

ресно – кто вообще назвал их коровами? И главное – где и когда. И если на аэродроме стены – улыбочивый праздник – то в воздухе – и на суше и над морем – тем временем катастрофа. Москиты и мошки отменяют пыльное, темно-коричневое, местами почти угольное дневное небо как жанр. Дышать через дуршлаг насекомых могут только еще более мелкие насекомые. Сцеживать как домашний сыр.

Наружу только жигой. Выдвижная флюорография легких. Наполнитель сангинной пыли так густ, что делает зримой даже лепнину дальнего контура воздуха берегового османского века. Тайное становится явным, от напыления. Каждый слой небесной температуры: 30–35—40 – тонирован точным личным оттенком темнеющей температуры. Current music: Avishai Cohen. Leh-lah. Чуть не хватает воздуха флейте. Ждем света, и вот тьма. Халильщик подвсхлипывает в среднем стереоухе, чтоб поднабрать. Осязаем, как слепые, стену, и, как незрячие, ходим ощупью. Правый и левый аудио-порты надежно заткнуты наушниками, чтоб не влетел кто ни попадя. День же паки в ночь преложийся. Божия дойная коровка – одна из миллиона – видит угрозу в пальце, предлагающем подвезти, и от страха тиснит мне пахучим трамвайным золотом парчовую белую рубаху. Выдавила весь оборонный тубик. Теперь хотя бы понятно, кто спёр всю краску из базового резервуара золота в небе, который отныне какого угодно – и черного, и белого, и горелого – но только не желткового. Главное не прихлопнуть дисплеем лэптопа, чтобы не проинспектировать всю палитру каравая изнутри. Иначе споткнемся в полдень, как ночью, между живыми – как мертвые.

Я кричу в телефон:

– Славик! Ты жив?! Где ты? Я волнуюсь уже! Куда ты пропал?! Ты же утром обещал прийти!

– Ой, Лена, какое счастье, – говорит (грозным каким-то, не своим голосом) Славик, – что ты так вовремя прозвонилась! Я в плену! Меня захватили по пути к тебе! Я в ментуре... Звони скорее в мою службу безопасности! Зови журналистов! Бандиты! Я в том же отделении, что и в прошлый раз... А то они мою мобилу сейчас...

И – телефон вырубается.

А уж какая там у Славика моего бедного «служба безопасности» – в его-то рафинированном академичном литературоведческом журнальчике?! Глупый блеф. Сейчас, думаю, они еще хуже ему за это навалеют.

Я выбегаю на улицу, борюсь с ветром, в ужасе думаю: «Кому звонить?». А тут ты, любимый, – со своими звонками! И с этими твоими му-му-му на моем автоответчике, когда я на звонок второй раз не ответила! И без того, – думаю, – на душе погано весь день, да еще Славик в смертельной опасности – а тут ты со своими му-му-му!

Короче, вышла на Тверскую – и тут понимаю, что куда бежать Славика-то спасать – я не знаю! В каком отделении он был захвачен в прошлый раз – я не знаю – а брякнул Славик это явно тоже, чтобы произвести на захватчиков впечатление. Думаю, ё-моё, дёрнуло же Славика уродиться идеальной мишенью для ментов: с черными кавказскими волоокими очами, кудряв, резкие ассирийские скулы – короче – преступление налицо. Бедный – причем самое-то смешное, что и мать у него русская, а отец вообще белорус, и только у какой-то там прабабушки – вовсе даже не кавказские, а наоборот киприотские корни были. А скулы ассирийскими получились. А Славик еще и (при своей вечной транжирской нищете) до жути дизайнерскую одежду любит: одна рубашка на пол-зарплаты – но зато дизайнерская – которую Славик полгода потом таскает, а с другой зарплаты джинсы моднейшей косоватости и куцоватости – так что менты просто, разумеется, Славика мимо пропустить не могут – считая, что Славик как раз идеальный донор для взяток. Уже который раз в центре в ментуру в заложники брали!

Короче – мечусь по Тверской, как дура, народ спрашиваю: не знаете ли вы где тут ближайшее, мол, отделение? Народ хохочет – считает, что это диджейский розыгрыш какой-то или флэш моб. Уже не знаю, что делать – поворачиваю к метро – и тут – вижу – Славик плы-

вет: счастливый, яростный, широченная улыбка, бедрами играет, худоба и судорожная изломанность подростка Эгона Шиле.

– Как, – говорит, – ты вовремя позвонила! Как только я взятку давать наотрез отказался – говорю: вы вообще незаконно меня задержали – я вам, что, меценат, что ли?! Каждую неделю меня ловить! – так они мне начали уже прямо угрожать, что сейчас мне наркоты в карман подложат! «Мы, – говорит, – искать умеем! Сядешь! Давай лучше по-хорошему». А как только я про службу безопасности тебе в телефон сказал – они сразу ушли в какую-то другую комнату, пришел их начальник, извинился за поведение подчиненных и соврал, что я на какого-то особо опасного преступника похож. И выпустил!

– Они, что, – говорю, – у тебя телефон отняли?! Почему ты вырубился?

– Да нет, – говорит, – у меня зарядка просто села! Давно уже причем! Я уж просто от отчаяния, когда они меня шантажировать начали – нажал в кармане незаметно кнопку – и телефон включился – на последнем каком-то издыхании! И в эту секунду ты позвонила! Все, – говорит, – нет сил, ща умру, пойдем пожрем куда-нибудь скорее! В «Пушкин», что ли? Ужасно, но зато близко!

Короче, пришли в «Пушкин».

Официант (этот, рыжий, в своем дурацком передничке) мне говорит:

– Вам, – говорит, – как всегда? Две двойных порции вегетарианских грибных пельменей?

Я говорю:

– А можно, – говорю, – вас прежде попросить уточнить все-таки у повара, добавляет ли он в тесто яйца? А то вы мне в прошлый раз так и не ответили.

Официант злобно на меня глянул, юной челюстью бритой кляцнул – но пошел, виляя обтянутым задом, к повару.

Я говорю:

– Может быть, не нужно было спрашивать... Может быть, – говорю, – надо было воспользоваться рецептом апостола Павла: не выяснять ингредиенты купленного на торжище – для спокойствия совести...

– Нет-нет, – говорит Славик, – правильно сделала. – А сам в руках меню «Пушкина» вертит. – Эх... – говорит. – Ничего что-то из их меню не хочется... Всё перепробовано!

А тут официант вернулся:

– Я, – мстительно так говорит, – вам, конечно, не должен был бы этого говорить – потому что тогда вы блюдо не закажете. Но... Ваши опасения оправдались.

Я говорю:

– Славик, ты будешь что-нибудь заказывать?

– Нет-нет, – говорит. – В другое место пошли тогда!

Я говорю:

– Куда ж мы пойдем? Может, в «Китайский летчик» – по-простому, гречневой каши с грибами съедим?

– Ой! – Славик руками на меня замахал. – Не дай Бог! Там такой грохот – концерт наверняка какой-нибудь, и орут все!

Короче, вышли мы с ним на крыльцо, в раздумьях. Вдруг Славик говорит:

– В «Шинок» поедем, придумал!

Я говорю:

– Ни за что! Чтоб мы там кого-нибудь из этих, прости Господи, встретили?!

– Да ну что ты! – уговаривает меня. – Никого там сейчас нет!

– Не охота, – говорю, – далеко так тащиться. Водителя, – говорю, – мне в такой час вызывать неудобно. Может, в Елисейский, – говорю, – зайдем чего-нибудь купим – и у меня поедем? А то у меня гость один был – все сожрал!

– Нет, – Славик говорит, – уж раз мы с тобой договорились пойти куда-нибудь позавтракать вместе сегодня – так давай хотя бы сходим поужинаем! Поехали! У тебя, – говорит, – есть деньги на такси? А то у меня, – говорит, – ни копейки наличных не осталось!

Короче, словили таксиста.

Я говорю:

– Славик, – говорю, – тебя, что, – говорю, – целый день в ментуре продержали?!

– Да нет, – говорит, – всего полчаса.

Я говорю:

– А где ж ты шляется целый день?!

Славик мне (уже в машине) говорит:

– Ой, даже вот не хотел тебе рассказывать... Ужас! Ужас! Все наперекосяк с самого утра! Мне такой ужасный сон приснился! Меня за ногу во сне какой-то урод схватил – и не отпускает! И больно так! Я чувствую: всё, сейчас просто кожу уже обдерет – жгучая боль! Я пытаюсь от него отбиться – и не получается! Впивается в ногу мне всё больше и больше! Я в ужасе просыпаюсь – и вижу, что это к моей лодыжке, оказывается, к волосам на ноге, жвачка прилипла – а моя кошка залезла ко мне под одеяло и всеми когтями эту жвачку отдирает! Ну я вроде очнулся – кошку прогнал, жвачку пошел в душ выбривать – а настроение все равно самое гнусное после этого сна! Депрессуха прям настоящая началась. Вышел на улицу – и как-то всё, чувствую, ужасно в мире!

Я говорю:

– Бедненький, что ж ты сразу не позвонил и про свой сон не рассказал?

– Ой, ну что ты, – говорит, – я наоборот сразу понял, что тебе я, в таком своем депрессушном состоянии, портить настроения не хочу! Ну я и поехал к одному своему редактору, которому мне кое-что заказать надо было – которого я ненавижу! Думаю: вот кому мне не жалко портить настроение – так это ему! Ну и проваландался с ним, выхожу, чувствую: жрать уже охота – невыносимо. Зашел, с отчаяния, в макдональдс на Новокузнецкой – все равно, думаю: хуже уже не будет. Народу полно. И вдруг я замечаю – в углу там женщина сидит, бомжиха – не ест ничего, *не* на что, видно, – но у нее такое блаженное выражение лица – что я понял, что ей, видимо, в жизни уже так хреново – что вот даже погреться посидеть для нее уже небесное блаженство. Ну, я ничего жрать там вообще не смог – выгреб из карманов всю наличку, какая была, всунул ей в руку, и выбежал оттуда...

Короче, любимый: Славик сидит мне душу изливает, бедный.

А тут в лобовое стекло нашего такси ка-а-к бросится что-то! Наш таксист ка-а-к мотанет руль в сторону! Затормозил резко, на обочину съехал. Смотрю – водитель аж трясется от ужаса. Оказалось – грязный целлофановый пакет просто. А водитель этим своим маневром ухитрился колесо пробить. Говорит: «Простите, вам другую машину ловить придется».

Поймали. Едем. Я смотрю в окно – и тут вижу – эти гнусные грязные целлофановые пакеты-то, ледяным ветром надутые, всюду летают – вихрь мусорный какой-то – и атакуют машины! Скверная ночь. Ветер противный, крайне даже противный. Еле доехали. Смотрю – уже почти полночь. И меньше всего в жлобень «Шинка» входить хочется. Ну, думаю, ладно, раз доехали...

Входим – и действительно – Славик прав оказался: одни во всем ресторане. Ну, официант нас уныло ведет к окну, за которым – живой паноптикум псевдо-деревенского псевдо-дворика: садимся – а прямо перед нами, за стеклом – индюк. Живой. И крепостная, под-новорусская, несчастная старуха. Живая. Кверху задом выбирает каких-то блох из апатичной козы.

Я говорю:

– Сла-а-ави-и-ик...

Славик говорит:

– Знаю-знаю... Сейчас мы быстро съедим чего-нибудь и уедем. Здесь же наверняка чего-нибудь постное есть!

Короче, подошел заспанный официант – невместительно толстый, в роль вжившийся, парубок, с расшито-расписной шириной, на руке висящей. Славик ему, со всей строгостью, подробно, с расшифровкой, со скидкой на под-новорусскую тупость:

– Молодой человек, – говорит, – у вас есть что-то без мяса, без рыбы, без молока, – и без яиц?

– Картоха! – расплывшись в улыбке, отвечает ему официант, – и машет шириной. Полотенцем, в смысле.

– Во! – Славик говорит. – Несите! Две порции! Только без сливочного масла, пожалуйста! С постным маслом!

А сам тем временем, когда парубок отвалил, грустно говорит мне:

– Я вот знаешь, о чем сейчас подумал: какая зияющая пропасть лежит между понятиями «пост», «диета», «голод», «голодание» и «голодовка»! Вроде – суть одна и та же: не жрать ничего! А ведь содержание абсолютно разное! Диета, например, – прямо противоположна по сути посту! Пост ведь – это отказ от плоти в пользу духа. А диета для похудения – когда бабы-модели и мужики-модели, например, голодают – это же наоборот примат плоти – они от этого, наоборот, еще гораздо более законченными самками и самцами становятся!

Я говорю:

– Единственное, на что я, пожалуй, была бы ради поста не готова – это жрать саранчу, как Иоанн Креститель.

Славик говорит:

– Как?! Акриды это разве саранча?!

– Ну, – говорю, – я предпочитаю верить, что нет. Жуткая же ведь там путаница с адекватным переводом библейской флоры и фауны. Плезиозавра левиафаном называют – а эволюционисты его, от испуга за крах своей теории, вообще чуть ли не гиппопотамом, вымышленно, постановили считать. Змей как «ехидны» перевели. А про акриды, в принципе, наиболее аппетитная версия, что никакая это не саранча – а плоды рожкового дерева. Помнишь, блудный сын ведь тоже в Евангелии мечтает забить пузо хотя бы «рожками», которые едят свиньи. Я думаю, как раз эти рожковые плоды и ел в пустыне Креститель.

– А это тогда даже очень вкусно получается! – Славик завопил, с загоревшимися, уже совсем голодными глазами. – Рожковые плоды и дикий мед! Это же тогда как орешки в меду получаются!

В этот самый момент парубок нам еду притащил: мы оба, просто уже не веря счастьем, за вилки хватаемся.

И тут я замечаю, что сверху картошка чем-то очень подозрительным посыпана.

Я шепчу Славике через стол:

– Славик! Спроси у него, пожалуйста: что это такое! Ты ведь умеешь с ними разговаривать!

Славик, опять, со всей взыскательностью:

– Молодой человек! Это что это?! – и вилочкой подозрительный предмет подцепил.

А жирный парубок, накрутив ширинку на локоть, с достоинством:

– Шкварки!

The Voice Document has been recorded

from 22:03 till 22:33 on 18th of April 2014.

Короче, любимый: уехали мы из «Шинка» со Славиком немедля же – вот ни маковой росинки! Проговорили у меня дома всю ночь. Уже ни спать, ни есть не хочется. На душе все

более тяжко. Хотела заснуть, когда Славик под утро, стрельнув у меня на такси, уехал – ан не может. Только я закрыла на секундочку глаза: звонит на мобилу портье Чарли.

– Эли! Ты еще спишь? Вставай скорее и спускайся сюда, на кабалу!

– Какую кабалу... Чарли... Что ты бредишь... Который час?! Как ты смеешь будить меня в...

– В час дня. Не ищи, не ищи часы, красotka. Искать ветра в море. Ты просила позвонить разбудить тебя по мобильному, если ты не спустишься к завтраку. Тебя горничная не может добудиться. Ты, что, городской телефон опять из стены выдернула? Спускайся, говорю, сюда на кабалу, на рецепцию – я покажу тебе этого подлюгу. Ты во сколько вчера легла?

– Ни во сколько я не легла, ни вчера ни сегодня, я вообще не спала, только что компьютер выключила. Что тебе от меня нужно?

– Занавески задернуты были?

– Не помню.

– Ну открой глаза да посмотри! Задернуты?

– Да.

– Понятно. Ничего не видела. Спускайся.

– Куда спускаться? Отвали, Чарли. Чего тебе от меня нужно?

– Спускайся на кабалу. Говорят тебе. Балаган! Спускайся на рецепцию! Я тебе покажу этого подлюгу! Каждый раз одно и то же! Каждый раз – перед Песахом – и здесь в отеле, и у меня дома – моя жена все моет, убирает – я сам вчера три ведра помоев из дома вынес – а потом приходит этот подлюга и все засирает!

Полу-спросони – полу-с-недосыпа, спускаюсь в лифте в фойе – поняв, в бессонной какой-то логике, что иначе от Чарли не отделаться.

– Я же тебе говорю! – с раздраженным ликованием заводит Чарли опять ту же невнятную песню, как только я подхожу к рецепции. – Этот подлюга появился ночью! Я выглянул ночью дома в окно – а луна красная совсем! И с огромной физиономией! Я этого подлюгу как увидел ночью – балаган! – сразу жену будить бросился: задраивай все двери! И окна!

– Охолони, Чарли, и объясни, будь любезен, какого хрена ты просил меня прийти? И прекрати мне тыкать в нос своей курительной трубкой.

– Забудь ты про мое курево! Тебе сейчас мой табак цветочками покажется! Ты еще не видела в каком мире проснулась! Сейчас я тебе покажу, чем ты теперь дышать будешь! Тебе моя табачная трубка респиратором противогаса покажется! Вот! Полюбуйся! Иди-иди! На этом серванте за кабалой теперь пальцем рисовать можно! Это у меня узкая щелочка окна, в мизинец, открыта ночью здесь оставалась! Не заметил кто-то, когда уходил! Пару часов – и готово! Пыль – в сантиметр толщиной! Смотри! Смотри! Пришел подлюга ночью и все засрал!

– Какой подлюга к тебе приходил? Старший менеджер? Прекрати же наконец бредить, объясни в чем дело?

– А ты попробуй рассыпь свою пудру... Плевать, что ее у тебя нет... Вот здесь, под софитом на стойке, рассыпать пудру – и дунуть! И увидишь, как это происходит! Вот так – ффу! Смотри! Смотри! Тут какой-то престарелый педераст вчера пудру забыл. Смотри-смотри: рассыпаю – и дую – пффу!!! Видишь?! Видишь?! Желтый свет софита сразу становится красным! Так и с луной! И так каждый раз! Каждый раз! Каждый Песах! Балаган! Каждый раз! А всё откуда?! Из Саудовской Аравии! Счастье еще, что у нас он хотя бы двенадцать, тринадцать, максимум пятнадцать дней будет! Хамэш эсрэ! А не пятьдесят – хашишим, как у них. И на том вам спасибо, дорогие! Люди убирались, старались к празднику – а теперь этот подлюга пришел и везде срёт, срёт, срёт! Расстиляет пыль как ковер – и вытряхивает его на город! Срач, срач, срач! Сегодня начал – значит, еще три дня из отеля носа можешь не высовывать. Три дня гадит воздух – потом день на отдых – потом опять гадит – потом опять передых. Моя жена только все опять в доме вымоет – а подлюга придет и заново все засрет... Нам срочно нужна

ваша Сибирь, как фильтр, для этой поганой сигареты, чтобы затушить ее! Чтоб остудить этого подлюгу и очистить воздух! И москиты рождаются из жары как цыплята. Балаган...

– Хорошо, Чарли. Больше не буди меня по пустякам.

– Эли, я просто не хотел сразу расстраивать тебя... Дело в том, что они выгнали из отеля нашего старика-инвалида – увезли его в дом престарелых в Бней-Брак. Я ничего не смог сделать. Говорят: уродам здесь не место, пусть едет в бейт-авод. Думаю, он сразу умрет, если не сможет посидеть со всеми здесь в кафе.

И луна – в кровь.

Я открываю в ужасе глаза – и вижу вертикальные ребра жалюзи в моей московской квартире – разлетающиеся, сорвавшиеся от ветра с нижних петель, и взлетающие, как разгулявшиеся ленты мёбиуса. За окном темно. И холодно – околеть можно. Забыла закрыть окно. А вставать – с гириями бессонницы на ногах – невозможно. Я полу-лежу, полусижу, на диване, оперев подушку на дребезжащую при каждом моем движении верандную раздвижную дверь. На коленях включенный лэптоп. Надо срочно доделывать правку текста. Не понятно, как, каким чудовищным усилием воли удержать картинку моей квартиры в бессонном фокусе – это все сложнее и сложнее – но одно очевидно: все переговоры с тобой надо прекращать немедленно, да-да, как с террористом. И гулять только в тексте, только по клавиатуре. Но лучше бы до этой клавиатуры не дотрагиваться даже кончиками пальцев. Ибо клавиатура – как микросхема города. Где «1-2-3-4-5-6-7» – Ибн-Гвирол, где в «Кофе-Бине» мой компьютер подцепил вирус, выйдя в беспроводной эфир, при первой же чашке чая (в транспарентном высоком капуччиновом стакане, с волнующейся янтарной медузой внутри – портативным ручным джибиджано, которое всегда со мной: путешествующим спутешествуй). Где «Цукенгшц» – Дизенгоф – где вечером можно ошалеть от запаха жженных каштанов и зелени фикусовых деревьев в темноте. Где «Фывапродж» – улица имени сумасшедшего реинкарнатора Божьего языка, замолодо уморившего свою жену лингвистическим карцером, не разрешая ей даже дома говорить ни на одном другом (где компьютерщик Гил, марокканский еврей, вылечил мой компьютер – ужас! – больно было смотреть! – пришлось его прооперировать: лэптопу вскрывали полости, вынимали временно жесткий диск, вживляли в другую машину – и вдули новый Windows – конечно же на иврите – так что теперь я не понимаю, что говорит мне мой собственный компьютер). Где «Я, ч, с, м, и, т, б, б, ю» – местечковой высоты высотки на набережной (забавно, как волна изгнания, омыв целый мир, вернулась обратно – намыв, в миниатюре, в этот новый-старый город виданное во всех народах, даже за океаном). Где в ярком соседстве с «Escape» – парк Яркон, с небывало цветущей шкедиёй. Где левый Shift – безумное ракушечное задание в стиле Гауди. Где ближе к крошечной круглой ластиковой мыши компьютера – Opera tower (где парикмахер наотрез отказался вчера стричь мне волосы: два раза картинно ронял на пол ножницы, подлец). Где пробел – море – закрывшееся (спустя сутки после того, как хамсин кончился так же внезапно, как и начался) вертикальным непроницаемым матовым экраном – белесой плотной стеной, надышанной волнами. Я сбежала от тебя аккордом на Ctrl-Alt – к порту и яхтенной бухте – и, втайне, прицеливаюсь к направлению Delete. На пляже, на песке, у самого моря, по самой кромке белого экрана тумана, через каждый метр (завешиваемые друг от друга темной – выявляемые только всполохами фонарей прибрежных кафе) сидят в одинаковых позах влюбленные – и жаркий вечер похож на тот жаркий день, когда брачуются насекомые, вылетая и выползая, как по команде, из всех щелей. Я хожу, курсором по пляжу, взмешивая мокрую горчицу песка сандалиями, потому что забыла, в каком именно кафе, вырастающем по мере моих шагов из песка, два часа назад оставила заряжаться свой лэптоп (когда свиное рыльце в кафе радуется? Когда оно электрическое, а у меня на излете зарядка. Стопроцентное попадание. Вилкой в розетку в кафе у раздвинутого деревянного окна в полморя – найти бы теперь только, в каком) – вот в этом? – где пахнет кислым вишневым кальяном и играет, отвратно громко, музыка техно? Нет, тоже не в этом. Может быть – на пляже Мецицим? Где закрытые белые

гигантские парусиновые зонты, торчащие перед морем в песке – похожи на Моисея и Аарона (вид со спины), наглухо, с головой, завернувшись в накидку с капюшоном, в пустыне. И где в углу кафе так, вероятно, до сих пор и блюет – кротко, беззвучно – двадцатилетняя вегетарианка-официантка Зои (гречанка, приехавшая подработать на учебу), до сегодняшнего дня страстно любившая сыр, – которой я вечером без всякого умысла честно рассказала, что сычуг, добавляемый в сыр, делают из желудочного сока убитых новорожденных телят и ягнят. Я давлю твои эсэмэсы как клопов, я немею от гнева – когда приходится нажимать Reject call – не понимая, отказываясь понимать, как ты смеешь мне до сих пор звонить. Я пытаюсь придумать идеальную, благословенно-математическую формулу, алгоритм избавления от тебя, музыкальную фразу бегства: как бы стереть тебя из моей жизни, вместе с этой твоей, несчастной, с выпученными глазами, в утиной юбке. Не возжелай... Кого там? Как жаль, что все старомодные формулы антивирусов адресованы в основном мужскому роду (так их и не освоившему). Не возжелай... Ёлки! Нигде в Декалоге не написано «мужа чужого». Ничего, что-нибудь сейчас подберу, подходящее к тебе. Вот, вспомнила! Идеально! «Не возжелай козла чужого, и никакого скота чужого!» Вот, вот, это идеально к тебе подойдет. Буду руководствоваться впредь по отношению к тебе этим. Reject call, без всякой пощады. Неучастие – так неучастие. The Games must be stopped! В самом всеобъемлющем смысле. Ультиматум и тебе, и, заодно, всему миру. Я иду, чуть шатаюсь от шаткости рыхлого песка, вдоль матового экрана моря – и гигантское – даже не тень – а пестрое мое марсианско-апельсиновое отражение (от высоченных светящихся пирамид-софитов очередного, настигнутого, кафе на песке, на которое я чуть было не наступила, чуть не раздавила его своим отражением) – шатко пляшет на непробиваемо-плотном вертикальном экране тумана рядом со мной. Мой ярко раскрашенный сфероидный mp3-плэйер с диктофоном, как мажентовое фаберже, болтается на шее. Я заткнула (от тебя – и от мира) уши наушниками: в которых звучит мой разговор с чудом выжившим на олимпийских играх крохотным евреем, чемпионом, греко-римским борцом, по небесному наитию сбежавшим из заложников – и вместо олимпиады выигравшим целую долгую жизнь. Коротенький еврей-йеменец с шоколадным лбом, чрезвычайно широким носом, чрезвычайно мощной шеей и удивительнейшей, неспортивной младенческой улыбкой. Я слушаю все заново – и не могу оторваться: как его отец-раввин выходил на улицу в четыре часа ночи и орал на всю округу, громко бранясь (чуть ли не так же громко, как я сейчас ругаюсь с тобой), делая вид, что ругается с женой. Зачем? – ты спросишь. Не твое дело. Я заново слышу в наушниках блаженное, волшебное слово за словом: «дунам» – а потом «виноградник», «Ашдод»: «Снял землю в Ашдоде под виноградник и посадил шесть дунам винограда. Разбил два каравана» – и будто заново сижу у него в гостях, и заново чувствую запах крепкого красного самодельного вина – Мерло и Каберне Совиньон – которое этот чудом выживший греко-римский борец гонит здесь, неподалеку от Яффы, вкушая от виноградного плода, из своего виноградника в Ашдоде – и пытается уговорить меня попробовать вкус вина. Ни за что. Аллергия. Аллергия уже на всё. Хотя запах сразу напомнил церковь – греко-русскую. Я вслушиваюсь в запись разговора с ним по второму кругу – и снова вижу, как доверчиво еду с ним куда-то ночью, в простеньком его джипе – и снова вижу высокие темные окна синагоги, выстроенной его раввином-отцом, через которые сбежавший от террористов олимпиец воровато пытается показать мне заповедные драгоценные свитки. И снова и снова, откручивая плэйер, слушаю: как он сбежал! Как мне сбежать от тебя? Какое еще волшебное действие совершить, чтобы ты исчез, чтобы тебя как будто и не было?

Море молчит – и дышит. Яркую, крупную, над морем низко зависшую (как будто ни в чем не бывало, наплевав на земной туман) небесную сверкающую солевую граненую недвижимость уже почти невозможно отличить от небесной же движимости – сверкающий рейсовый самолет, сам с минуту назад казавшийся астрономической штучкой, идет на таран звезды – в последний миг разминувшись лишь в миллиметре. Море за занавесом тихо пережевывает камушки во рту,

как актер, тренирующий дикцию – чтобы потом в шторм выплюнуть их таки в ярости зрителям в лицо. Я круто разворачиваюсь в заедающем песке – и иду в противоположную сторону, к Мецициму. В пустом кафе надывается Cure: «I will always love you!» – интересно, как они умудряются даже в святые, вроде бы, слова вложить гнусной падшей интонацией и музоном какой-то двусмысленный подтекст?

Зои уже оклемалась, но ноутбука моего здесь тоже нет.

– Хочешь, я тебе принесу отварных broad beans? – мирно предлагает мне Зои – сидящая, пока нет гостей, с ногами в проваливающихся восточных диван-сараевых креслах. – С чесноком и крупной морской солью?

Не надо. Ничего уже не надо. Ничего из того, что люди могут предложить – не надо. Кажется, что никогда не дойти отсюда на гору, до Яффы – эффект перевернутого телескопа – а когда стоишь там, вверху, на горке, в Яффе – и смотришь вниз на город – наоборот кажется – что город далекий, недостижимый. Хотя и то и другое умещается на правой и левой ладони. И дойти-то быстрым шагом – в минуты. Если, конечно, ни о чем по пути не задумываться. Какая-то странная закрутка времени, притворяющегося пространством. На полпути, на опустевшем уже, уже ночном совсем пляже, выдергиваю звонящий телефон из кармана – занеся уже палец, готовясь уже казнить очередной твой входящий звонок – и тут вижу: номер итальянский. Не мог же ты додуматься, – думаю, – вытребовать срочно у дружков итальянскую симку, чтобы прорвать карантин? Нет, думаю. Точно не ты. Думаю: ладно, рискну, отвечу. Вынула наушники плейера из ушей.

– Алло, алло, мне ваш телефон доктор Цвиллингер дал! – очень густой, мясистый, кашляющей густоты, чрезвычайно громкий, не стесняющийся себя голос. – Мы с ним большие друзья – мы как-то раз отдыхали вместе на озере Комо! Я живу – от него с другой стороны гор – я из Милана!

Я говорю:

– Я крайне занята сейчас. Не могу говорить.

– Алло! Алло! Это чрезвычайно важно! Меня зовут Калман, но вообще-то можете меня называть Шломо. Мне необходимо с вами срочно встретиться! Я кинопродюсер, делаю проекты для Голливуда. Доктор Цвиллингер порекомендовал мне вас – мне нужно, чтобы вы мне срочно написали гениальный сценарий!

Я говорю:

– Я ненавижу кино. Я не пишу сценариев. Спасибо, извините, до свидания.

– Алло! Алло! – кричит. – Это чрезвычайно срочно и важно! Подождите... Где вы находитесь? Доктор Цвиллингер сказал мне, что вы сейчас на отдыхе. В какой вы стране?

Я думаю: ну это уже слишком. Думаю: какой же гад этот Цвиллингер, а? Ни словом вот больше с этим подлым предателем-аллергологом не перемолвлюсь.

Говорю:

– В Австралии. Всего доброго.

И тут слышу – какой-то наистраннейший эффект стерео в мобиле от прокатившего по Таэлету, с жутким грохотом, красного открытого кабриолета ягуара – услаждающего окрестности восточно-попсовой музыкой на запредельной громкости. Заткнула левое ухо пальцем – слышу: точно, из мобилы раздается та же самая чудовищная музыка – с тем же самым коэффициентом удаления. Я молчу – несколько изумленно – и с некоторым уже внутренним смехом чувствую, что звонящий мне, в эту самую секунду слышит, думает и понимает то же самое, что и я. Единственный сорт встреч, на которые я никогда не опаздываю, – это случайные.

Я говорю:

– Ладно, через три минуты, у пирамид на пляже.

И слышу опять какой-то ужасный, крайне не-музыкальный шум. Вытаскиваю опять из кармана телефон – смотрю на дисплей – нет, это конечно же не телефон! Проверяю наушники –

нет, сняты, диктофон выключен. Никаких машин больше на набережной. Что же это галдит так оглушительно в темноте? Открываю глаза, оглядываюсь, ощупываюсь – вскакиваю с дивана, чуть не уронив на пол лэптоп – и вдруг понимаю, что орет это источник бесперебойного питания от моего большого компьютера, валяющийся в углу у окна. Подбегаю к окну – выглядываю: ну точно! Все окна соседские черные. Опять электричество вырубилось во всем доме! Элитарный аттракцион – не знаю ни одного другого дома в центре Москвы, где бы замшелые старинные пробки вышибало с такой регулярностью! Я подхожу к дверному глазку: рыбий глаз – щучье ухо – и вижу – в чернейшей черноте – череду разнокалиберных (и разноприродных) огней, рекой переливающуюся по длинному коридору. Распахиваю дверь – не чтобы река залилась – а из любопытства, чтоб рассмотреть: лиц в деталях не видно – зато видно, что у кого-то – здоровенные стеариновые свечи – а кто-то вместо свечи благоговейно несет мобильный телефон, чикая подсветку.

Мне – вот честно скажу тебе – становится завидно: не поучаствовать в этом шествии! Свечей у меня нет. Мобила – смотрю – уже сдохнет сейчас – думаю, если я сейчас возожгу дисплей – хватит ровно на минуту – и никто уже тогда прозвониться не сможет – а мне правку книги уже просто немедленно надо доделывать и отправлять – сейчас эта стерва уже звонить, думаю, будет, требовать текст. Источника бесперебойного питания хватит компу только минут на пять. А нужно, чтоб хоть что-то из всего этого ручного, наушного, наладонного, наколенного, настольного, милого дожило в темноте до утра.

Что, думаю, делать?! Думаю: единственный выход – делать то, чего никогда в жизни не делала! Ни я, ни кто-либо из друзей ни в этом веке, ни в веке прошлом. Никто вообще из живых людей, кого я знаю лично. Делать то, что мне хотелось, на самом-то деле, делать всю жизнь. Я подбегаю к выгородке рядом с обеденным столом – тяну уже руку к стоящей на выгородке главной драгоценности в квартире... – потом думаю: нет, сначала – фитиль, – выдираю из шкафа хлопковую... кажется, ямамото... была... но, кажется, натуральную, маечку, выдираю из нее клочок, раздираю на мельчайшие полоски, скручиваю одну – мечусь уже – боюсь опоздать наружу, пройтись в коридоре неизвестно куда, – бросаюсь в кухню: масла, масла, только главное рафинированного, не перепутать бы – а! – вот оно! Несколько капель чистейших оливковых слез на фитиль! И – вот, вот чудо, о котором можно было только мечтать: заливаю оливкового масла в драгоценнейшую драгоценность: крошечную глиняную Иерусалимскую наладонную масляную лампу – античный фонарик, изящно и неброско (но так, что от этих номеров бросает в дрожь – и не смеешь использовать лампу утилитарно) датированный годами «0—50». Никогда, никогда на такое бы раньше не решилась. Как приладить этот фитиль? – как странно думать, что для кого-то это было таким простым ежевечерним действием! Фитиль ныряет через дульку, я поджигаю краешек – от газовой плиты – не может быть! Горит! Горит у меня на ладони этот вечный фонарик, который зажигали последний раз чуть меньше двух тысяч лет назад! Раскрываю дверь – и оказываюсь – ну разумеется! – ни в каком не в коридоре с соседками – а в тесном темноватом безумном уюте заваленной антикварным хламом лавки в еврейском квартале Старого города, у самого Кардо – среди профиблей кесаря с безобразно расплюснутыми носами и губами на никчемных монетах, микроскопических осколков, с которых знатоки-антиквары умудряются считывать больше информации, чем есть во всем современном интернете – и прочего мусора, который лучший антиквар – время – по большому еврейскому благу сделало драгоценностью. Давид Бар Левав, давно мертвый владелец этой давно разоренной, распроданной после его смерти, закрытой, уничтоженной, не существующей больше в материальном измерении антикварной лавки, маленький забавный рукастый человечек с тыквообразной лысеющей головой, путеводительствуя меж пыльных полок с обломками, учит меня отличать подделки от подлинников:

– Забудь про форму. Забудь про то, что тебе говорят академичные специалисты. Забудь про все эти схемы с годами и контурами. Форму можно подделать. Трещины тоже. Я покажу

тебе единственный верный способ идентифицировать оригинал! – (Давид выхватывает глиняный осколок кувшина и хорошенько, крепко и обильно плюет на него.) – Видишь! Видишь! – (сияя, как начищенное старинное блюдо, вопит мне Давид – и растирает плюновение по глине.) – Видишь! – (подносит обломок к носу – и вдыхает с таким наслаждением, как будто бы это тончайшие духи.) – Это ни с чем невозможно спутать! Запах пещеры! Это невозможно подделать! Великолепнейший запах в мире! Запах испода земли и глины, отфильтровавшей время. Имеющей сказать. Драгоценнейшая восточная пряность.

Давид в восторге и изнеможении – от сомнительных обонятельных блаженств – садиться в кресло за письменный стол в глубине лавки. И через минуту немного изумляется тому, как слёзы как-то сами собой брызнули у меня из глаз, когда – выцепленная мною в свалке драгоценных обломков – эта Иерусалимская масляная лампа с феноменальной точностью идеально легла мне в ладонь.

Давид Бар Левав, наладив незаконные, полумафиозные каналы поставки древностей, лично знал того бедуина, который, гоняясь по пустыне за кривою своею козой (на финише гонки метко запрыгнувшей в нужную Богу пещеру), обнаружил случайно Кумранские свитки – пергамент в запечатанных кувшинах – и собирался пустить кожу этих пергаментов на починку бедуинских сандалей. В принципе – довольно созвучное всему сегодняшнему миру бизнес-решение. Пойдите, посоперничайте с этой козой, приземленные недоумки, в том, как быть угодными Богу!

Давид говорит мне, что буквально «намыл» первую коллекцию драгоценных монет и осколков – из местной, Иерусалимской канализации – как на прииске: дал шекель пархатому чистильщику древней вонючей сточной канавы города – за целое ведро грязи и глины, выгребенное из засоренного фильтра.

Давид больше трепетя – чем продает, – и торгует, кажется, себе в убыток – а половину вообще раздаривает:

– Взгляни, у дальнего окна – там есть ранние каменные нательные кресты христиан, четвертый, пятый век, я хочу, чтобы ты что-нибудь выбрала себе в подарок.

Невозможно, невозможно до этих крестов даже дотронуться. Несгораемый остаток. За каждым – живая душа.

Не понятно, какой подонок сказал Давиду, что ширпотребно-кошерный кубиковый бульон в одноразовых стаканчиках, продающийся здесь же, в разлив, у еврейской молодежи, через две лавки – который Давид хлещет залпом, горячим, жадно сжимая стаканчик, раздолбайски бросив незапертую лавку древностей ради прогулки по еще более древней улице (лавка древностей внутри этого города – это какое-то уже масло масляное), расплескивая и засеивая бульон под ноги (авось, прорастет) в западни слишком неровно состарившихся камней квартала – это лучшее лекарство от убившего-таки его рака.

– Да нет, ну что вы? Зачем же целую луковицу?! Я кладу в кастрюлю только шуршащие коричневые луковые очистки! Все окрасится лучше, чем краской! – восклицает соседка со знатной фабричной свечой (кому-то невидимому, рядом с ней в коридоре) – и вдруг очумело вперивается в удивительно яркий луч света, бьющий из правой моей ладони. Горячо. Немного горячо. Но вы-но-си-мо. Несу. Запах. Запах. Я никогда так и не спросила своего старого друга Давида Бар Левава, зажигал ли он хоть одну масляную лампу. При жизни. Все плывут, с огнями, к лестнице. Оттуда, завернув направо, река переходит в узенький водопад – вниз сплавляются в темноте уже не все – только отчаянные герои – по одному, по крутым отрогам ступеней длинных лестниц, на утлых лодочках лампочек айфонов, айподов, просто мобильных.

Шломо чудовишно водит машину. Я глазею по сторонам, и, в темноте, в рассредоточенном взгляде, вспыхивающие, шарахающиеся от нас и едва уворачивающиеся от столкновения огни встречных автомобилей похожи на смазанный скоростью цветной отсверк свечек, которые какие-то ошалевшие бегуны на бешеной скорости проносят, пробегая мимо нас, навстречу

нам, в противоположном нам направлении. Немного щемящее чувство в солнечном сплетении: то ли от того, что Шломо все никак не вывернет на правильную дорогу – а южный рукав Тель-Авива, указующий нам путь, так мучительно похож (особенно в темноте) на тоскливые разодранные коробки из-под палёной тайваньской техники, – то ли вот просто вновь включился во мне странный, магнитный какой-то рефлекс, включающийся всегда, при этой поездке: тревога, чувство, что (как всегда) не готова к этой поездке, на самом-то деле – а теперь еще и крайнее недовольство тем, что поехала не одна, не на такси – а согласилась, уломалась, поехать в компании буйного Шломы. Шломо болтлив как дрозд. И удивительно похож на Карузо времен американских грамзаписей. Шляпа – единственное, чего не хватает. Большой, китообразный человек, в рыжих плюшевых джинсах и идеальном пиджаке от вечернего костюма, с торчковой порослью на мягком лице, прилежно впитавший в себя все итальянское – в том числе не одну тонну макарон за пятидесятилетнюю жизнь. И если для того, чтобы я начала аврально самовыражаться – должно произойти нечто ну крайне необычайное, – то для Шломы (как выяснилось, увы, уже только в машине) – норма жизни – фонтанировать – и не давать ни секунды мне покою. Я удивляюсь – когда же он думает – если каждую секунду говорит.

– А знаешь, – восторженно интересуется Шломо, заглядывая мне в глаза, забыв про руль – и едва-едва потом выворачивая взятый напрокат беленький ниссан из-под грузовика, – знаешь, почему в Израиле рисуют выставленную ладошку, вместо автодорожного знака: «Stop»? Ах, опять пропустил нужный поворот!

Сижу – и не могу понять, как я могла на эту поездку подписаться?!

– А потому что... – разворачивается опять всем своим нехилым упитанным корпусом ко мне Шломо со своего водительского места (делая, пытаясь делать одновременно еще одну попытку выехать на верную часть шоссе). – ...А потому что в иврите же справа налево все читают! И когда в Израиле стали устанавливать знаки «Stop», все евреи читали это наоборот: как «Pots». Ах, вот она, где развилка, которую я проскочил в прошлый раз! Ну – теперь уже мы на верном пути!

Ни на секунду, ни на секунду не умолкает. Как будто ему скучно одному в его мозгах.

Про сценарий, впрочем, заглох быстро – так что я сильно подозреваю (не знаю уж, что наговорил ему там обо мне Цвиллингер!), что Шломе просто не терпелось со мной встретиться потрепаться. Затараторил мне, как только мы встретились на пляже:

– Я нашел гениального ученого, который считает, что Моисей и Тутанхамон – это одно лицо! Но он, к сожалению, не может из этого сделать сценарий! Придумайте мне гениальный сценарий! Я хочу бестселлер! Сюжет! Чтобы был гениальный сюжет!

А как только все мое нутряное, смачно ему в лицо выплунутое, брезгливое отношение к «сюжетности» услышал – быстро сменил тон, и в довесок, откашлявшись и шаркнув, как в старых кино, сообщил, что учился в Кембридже, что в совершенстве говорит на пяти языках (его английский минутами действительно устарело-блестящ), что, начиная с четвертого языка, учить иностранный уже совсем несложно, что сейчас учит шестой – иврит, что тараторит без умолку и без толку (нет, это уже ремарка от меня, это выяснилось, повторяю, увы, чуть позже – когда я оказалась в засаде снятой им напрокат, в аэропорту машины, на переднем сидении.)

А когда я, танцуя на одной ноге, подхватив сандалии в руку, неуклюже мыла, с брызгами, мыски от песка под колонкой на пляже, Шломо, будто в подтверждение языковой раскованности, выпалил английскую банальность:

– You are painfully beautiful! – и страшно после этого побледнел.

В общем – все противополоказания налицо. Мне бы сказать: «Спасибо, мило было познакомиться, всего вам наилучшего, Шломо, – привет засранцу-предателю Цвиллингеру». Тем более, когда Шломо немедленно, чинно шаркая большими своими ногами, попросил меня быть гостем его матери сегодня вечером – в Иерусалиме. Но когда Шломо добавил, как будто стесняясь, что мать его – одна из выживших в Освенциме, и несколько лет назад, когда ей перева-

лило за восемьдесят, все бросив в Милане (родных, насиженную обеспеченную жизнь) уехала – одна – жить в Иерусалим, я вдруг почувствовала (как чувствовала уже неоднократно в жизни), будто путеводный ангел мягко берет меня за руку и просит: «Иди и смотри. Иди и слушай». И я шагнула в направлении этой белой безудержно разговорчивой тюрюги – в которую теперь превратился его автомобиль.

– Они здесь должны были бы не указатель с названием города привесить – а надпись: «Ла'алот!» Восхождение! – острит Шломо, кашляет, смеется сам с собой – выпустив опять руль из рук – и дорогу из внимания.

Зрительно подъем не заметен – но здесь я сразу узнаю эту точку, где мы начинаем набирать высоту – по заложенным ушам, почти как в самолете. И эта всегдашняя, извечная на этом пути, тревога (смешанная с недовольством очень громкими – диссонантно натужно веселыми – никак с дорогой этой не резонирующими словесными извержениями попутчика), в солнечном сплетении производящая бунт, – сменяется немотой радости.

Я говорю про себя: «Халва». И чувствую сладость. Халва по обе стороны от дороги. Взрезанная крайне неровно, рвано – высокая, слоеная, темная, подсолнечная, а не тахинная из Яффы.

Шломо недоволен, что я молчу, и требует немедленных ответов:

– А кто твой бой-фрэнд? Кто он по профессии? Нет, а почему я, собственно, не могу у тебя спросить, есть ли у тебя бой-фрэнд? Что в этом такого?!

Немного бравурной пытки – и вот уже – тот самый вид, от которого умолкает (ровно на три секунды) даже Шломо: улитка, сверкающая в черной мягкой ночи огнями, закручивающаяся спиралью по разноуровневым холмам. Улитка на сизой запотевшей от ночного холодка масляной ветке.

– Ты не против, если мы сначала, прямо сейчас затормозим ненадолго в Старом городе и погуляем? – жизнерадостно и вежливо-галантно (с тем сортом вежливости, который не только не предполагает отказа – но и надеется встретить восторг согласия) интересуется Шломо. – Я кучу всего хочу тебе в городе показать!

Я против. Нет, я категорически против, я не шучу. Шломо готов разреветься. Мы договаривались, – говорю (с некоторой злостью), – что едем только в Новый город к твоей матери. Нет, нет, Шломо, в Старом городе я гуляю только одна. Хуже ночного кошмара выдумать невозможно – войти туда с бурливым словоохотливым Шломой, все окружающее тут же на автомате переплавляющим в трёп, – невозможно!

Шломо скусил большое свое лицо и обижен насмерть. Я стою на обороне насмерть тож. Ни за что. Сколько раз я видела в своей жизни эту странную ревность и зависть в глазах мужчин – в ту секунду, когда они понимают, что для меня этот город важнее. В растерзанных чувствах оба голодным взглядом наблюдаем за провозимой городской стеной (болезненно далекая-близкая декорация – когда туда нельзя войти) – которая в темноте похожа на горелую рифленую мацу – с чуть дрожащими на ветру, кивающими малиновыми маками в расщелинах живых камней – и уезжаем на соседний холм.

Ночью, уже почти под утро, я стою у узенького окна – и слышу – через балкон, – как Шломо в соседней комнате кряхтит и кашляет. Можно, если встать на цыпочки, увидеть почти весь город. Я не зажигаю свет в этой судорожно узенькой комнатке с маленькой кроваткой, которую мне отвела мать Шломы – я надеюсь дожждаться рассвета. Холодно, безумно холодно ночью в этом городе – из растворенного окна обдает ледяным почти дуновением – и я кончиками пальцев вспоминаю изморось, оледень, ледяной пот, появляющийся на камнях домов в Старом городе ночью – иногда даже после нестерпимо жаркого дня. И можно теперь, будучи одной, еще раз рассматривать в свежей памяти лицо матери Шломы – еврейки из Будапешта, иссохшей (беззащитно смотрящейся в огромной современной Иерусалимской квартире в новом высотном доме – в огромных, квадратом расставленных в центре гостиной

диванах), деловой, надававшей Шломе тумачков и взыскательно спросившей его, почему это его клиент-режиссер самостоятельно, минуя Шлому, общается с кинокомпанией; выговаривающей, как это Шломо допустил. Шломо поджимает уши и пятки – и виновато оправдывается.

– Когда она вышла из Освенцима, она ничего не ела. Или ела очень-очень мало. Все же были как скелеты. Те, кто начинал сразу после освобождения есть – сразу умирали. Они не умели больше есть. Но она выдержала – ела совсем-совсем мало, даже когда появилось *что* – и выжила», – шепчет мне Шломо, усевшись немедленно за компьютер в кабинете и маниакально читая (по личной подписке) все завтрашние израильские, американские, итальянские, английские газеты – и, кликая курсором, успевая мне комментировать, какая из них какого взгляда придерживается на интересующие его (а интересуют его все!) проблемы.

– Мой отец партизанил – ему удалось избежать отправки в лагерь – он сбежал воевать к партизанам. А когда моя мама вернулась из лагеря, и они поженились – в Будапеште уже была красная диктатура. И его посадили в тюрьму – уже красные.

– За какую-то антисоветчину? Или потому что был еврей?

– Нет, ни за то, и ни за другое: а за контрабанду и незаконную торговлю.

– Чем же он торговал?

– А буквально всем, что было, тем и торговал – ничего же не было ни из еды, ни из простейших вещей. И он так на еду для матери зарабатывал.

– И сколько же он просидел?

– Очень недолго. Мать умудрилась всунуть взятку часовому, чтобы его отпустили по ночам на свидания к ней. И часовой его отпускал. А в одну из ночей он в тюрьму не вернулся: сбежали из Будапешта в Австрию! Договорились, за взятку, конечно, тоже, с паромщиком, который перевозил коров на пароме по Дунаю, чтобы им сбежать из страны. И их спрятали под покров досок, в пол этого парома – и так они, под коровами, незаконно пересекли границу – и оказались в свободной Австрии – а оттуда уже, через всю Европу, обходными путями, добрались до Италии. Мать до сих пор переживает, что того часового, который отца за взятку выпускал на ночь из тюрьмы, наверное, самого в тюрьму после их бегства посадили!

Его мать, сидящая буквой цади в гостиной, на мой вопрос, погибает тонкие пальцы, считая, на скольких языках она говорит свободно (йидиш, венгерский, польский, немецкий – плюс наречия всех солагерниц, плюс мовы всех стран и мест, из которых были беженцы, с которыми вместе кочевали после войны, пока не осели в Милане – да, итальянский тоже) – и пальцев на руках не хватает. Растерянной она выглядит, только когда я спрашиваю, какой язык она чувствует как родной:

– Не знаю... Наверное... Нет, не знаю...

Я в ужасе замолкаю – я не могу себе представить этого внутреннего состояния – когда ни один язык тебе не родной! Наверное, даже бездомным в мире быть легче.

Рассветает – и, если опять чуть привстать на мысках, можно увидеть, как с одного бока города ночная сизость известняка домов чуть смягчает, теплеет – и – по мере медлительного восхода солнца – розовеет. Вот уже начинает орать кто ни попадя. И тихо вступает карийон. И можно, зависнув, думать о том, как утром, распрощавшись со Шломой, я войду все-таки в Старый город, уже по-настоящему. И можно, не слушая криков в воздухе, думать о том, что город этот, как ни один другой в мире, призрачен – и как ни один другой в мире реален; что тот, небесный, обетованный двойник, которого-то, подсознательно, всегда в этом городе ищешь (и который пытаешься всеми созвучными силами души расчувствовать, прочувствовать) – в прямом смысле «как небо от земли» (до внезапной оторопи отворачивания от земной подделки), отличается от видимого, проходящего, нынешнего, падшего, материального двойника. Что нет более страшной (на самом-то деле) карикатуры на обещанный Небесный Иерусалим – чем вот этот вот «реальный» Старый город из камней – жадный, бессмысленный, кичливо-кричливый; не знающий, что чем прикрыть: алчность – похотью или похоть алчностью – или то и другое

гордыней и жестокостью. И можно думать о до предела реальном, никогда не покидающем интуитивном ощущении, что город этот – по сути – Детонатор, чека взрывного устройства, к которому привязан весь земной видимый мир – и что «когда начнется конец» – то начнется именно здесь. И что все недоразвитые мужчины в мире почему-то с какой-то одержимой суицидальной страстью тянут к этому Детонатору ручки, чтобы поскорее взорвать шарик. И что недаром на одних из ворот Старого города написана формула: «Просите мира Детонатору!»

И о том, что, тем не менее, внешний, падший, страшный этот город так ощутимо (для всех чувств, когда находишься внутри) зудит и звенит от жажды разродиться небесным, внутренним своим городом – как, собственно, и всё в этом падшем мире – как каждый падший человек в этом падшем мире всю свою жизнь, собственно, силится избавиться от человека внешнего (всегда страшного, всегда чужого и чуждого самому же себе) и разродиться человеком внутренним – и что в этом только и есть смысл жизни.

Можно мерзнуть у окна – ожидая гораздо более близкого по времени превращения – краски апельсина на камнях Иерусалимских домов – и думать обо всем этом. Невозможно оказалось сделать только одну единственную, казалось бы, такую элементарную вещь: надеть чистенькую, выглаженную, нежную розовенькую байковую ночную рубашку – мать Шломы от жертвовала мне свою! положила мне, разгладив ручкой, поверх одеяла на кровать – невозможно: после того, как, в гостиной, я увидела, как из-под закатанного рукава ее платья на левой руке мелькнул татуированный номер.

The Voice Document has been recorded
from 22:37 till 23:07 on 18th of April 2014.

Incoming call from 00790399XXXXX
at 23:45 on 18th of April 2014

– Ну ты доделала текст, наконец, подруга? Когда ты мне текст готовый пришьлешь? Ты обещала прислать сегодня. Я завтра улетаю в командировку. У меня должен быть твой текст к утру в компьютере.

– Я помню, Анята. Дело в том, что... Мне как-то... Чудовищно неуютно во внешнем романе.

– А! Ты, оказывается, для собственного уюта книгу пишешь?! Я не знала!

– Не в этом дело. Просто... Ну вот не могу тебе объяснить: вся эта движуха в интонации, вся эта агрессия и витальность – в тот момент, когда, наоборот, на самом-то деле хочется из всего этого сбежать.

– Ты мне мозги-то не заговаривай. Сколько тебе, конкретно, осталось страниц правки доделать?

– Аня! Ты что, не слышишь меня?! Что за счетоводчество! Ничего в жизни цифрами не измеряется! Это все равно как если бы ты меня спросила: «Сколько тебе осталось дожить»!

– Хватит рефлексировать, подруга, и шли мне немедленно, вот сейчас прямо, текст, как обещала.

– Анята... У меня, знаешь, вообще всё больше, по мере работы, возникает подозрение, что все лучшие книги, написанные человечеством, никогда не были опубликованы.

– Мне не нравится направление твоих мыслей, подруга. Ты к чему клонишь, а?!

– Просто вот задумалась о том, что лучшие авторы и лучшие люди за всю историю человечества наверняка просто были достаточно скромны и неамбициозны – и их книги так навсегда и остались в крепко запрятанной где-нибудь, никем из людей не найденной, рукописи.

– Еще скажи, что лучшие книги это ненаписанные книги!

– Наверняка так и есть – и самые лучшие из них мы наверняка будем читать в Царствии Небесном, на Небесах, в эдакой сияющей небесной библиотеке ненаписанных книг молчаливых скромняг-праведников! Самой лучшей библиотеке во Вселенной! Эдакой, знаешь, мульт-

тимедийной, интерактивной воздушной библиотеке. Которая ничего общего не имеет со всей этой земной ярмаркой тщеславий.

– Так, подруга: я тебе не дам уничтожить твою книгу в крематории имени Николай Васильича Гоголя. Пришли мне текст по и-мэйлу немедленно. В том виде, в котором есть.

– Аня... Честное слово – мне катастрофически не нравится внешний роман. Знаешь: это чудовищно – чувствовать, что слова отражают не изгибы твоей души, а камни и стрелы, которыми только и можно сотворить прореху в глухоте других. Я думаю: может, внешний роман вообще выбросить?

– Нет уж, подруга, ты знаешь – я педант. Уж будь любезна доделать всё так, как ты задумала. Мало ли, что тебе там чувствуется. Всё! Хватит рефлексировать! Присылай текст немедленно.

– Хорошо, внутренний роман я тебе скину сейчас по и-мэйлу. А внешний... Внешний роман, видимо, буду менять.

The e-mail attachment has been sent
from lenaswann@hotmail.com to mobile.wisdom@outlook.com
at 00.15 on 19th of April 2014

Глава 1

I

– Жи-ррр-аааф! Жи-и-ррра-а-аф!

Темнота кликалась и дразнилась где-то далеко, в самой глубине подвала, грассируя и жеманничая, размешивая себя сахарным и певучим картавым мужским голоском:

– Жиррраф-жиррраф-жиррррра-аф!

Надо было бы повернуть назад, потому что она и так уже прошла насквозь, вглубь, три комнаты: в первой ей показалось слишком близко к дворику, где между неряшливыми только что зацветшими ясенями еще прочно застрял оранжевый ясный апрельский вечер, а две строгие, явно режимные («системные», как они презрительно называли таких между собой с подругой в школе) старушки, одна в дорогой мышинового цвета шали с кистями, другая в малиновом кэппи с пумпоном и шерстяном бордовом костюме с юбкой по колено, до обморока укачивали своих неприятно энергичных и до ужаса похожих друг на друга толстых белобрых внучков, – одного на качелях (этот остервенело дергал железные поручни, как клетку, и сучил ногами, норовя на обратном излете побольнее садануть сандалем бабку), а другого в сидячей коляске, из которой тот уже как только ни выкручивался, пытаясь всеми конечностями вытечь на песок то с одного, то с другого бока из-под садистски прочно пристегнутых помочей, отчего казалось, что рук и ног у него как минимум в два раза больше, чем у первого, корчившего ему рожи с качелей, чье место он явно метил занять; но качели были только одни; и иезуитская старая дама в кэппи приподдавала коляску, зачерпывала мальчика как лопатой и слегка подбрасывала вверх, как будто в издевку ровно в том самом ритме, что и ее товарка орудовала с качелями; отчего ее пассажир злился, краснел, набухал и выёживался, однако почему-то еще не ревел, – обе внакодзирательницы недовольно проследили, как девочка в возмутительно сиреневой куртке и вызывающе белых джинсах направилась к железному навесу, отогнула ржавый лист-нарост (железная труха посыпалась под сиреневый рукав и на правое белое колено), наполовину заслонивший сверху дверь в подвал, нагнулась и шагнула внутрь. Во второй комнате – оказавшейся довольно длинным сумеречным коридором, она все еще продолжала слышать скрип качелей: вторая бабка, видимо, уже унялась, потому что рёва все так и не последовало; ей показалось, что песок на бетонном полу под ногами пошел под уклон, и ноги как-то сами собой покатали дальше. Свернув в ответвленьице направо, она промахнула через мелкий предбанник, повернула налево, попала еще в один, совсем уже темный коридор, подалась в первое же ответвление налево, выбила случайно мыском деревянный колышек из-под тяжелой синей клеенчатой двери с грязной ватной грыжей, дверь тут же за ней захлопнулась, поддав ускорения; она влетела в следующее помещение, чуть не упала со ступенек, спрыгнула, чтоб не считать, наугад, и приземлилась на корточки уже совсем в глухой темноте.

Теперь остались только эти раздражающие, как в бреду, приливом докатывающие откуда-то с изнанки подвала, и, как ей показалось, снизу, картавые распевы:

– Жи-ррр-аф-жи-ррр-аф-жи-ррр-аф! – как могли подзывать только разве что ручного зверька. – Жи-и-и-ы... – прокатилось – и все застыло.

Темнота, казалось, специально гипнотизировала: уже до зуда не терпелось услышать разрешение аккорда. Как если бы она держала у уха морскую раковину, в которой вдруг трансляцию на полпути поставили на паузу, и удержу никакого не было, как хотелось все немедленно взболтать и добыть-таки с донца застрявшие там звуки – или разодрать ухо, прочистить

от воды мизинцем или уголком любимого белого махрового банного полотенца. Попрыгать? Вытрясти? Но больше никто никого не звал.

Полотенца, впрочем, тоже под рукой никакого не было. Был только в меру затхлый, предположительно грязный, предположительно страшный подвал. Но видно все равно ничего не было.

Она встала, сделала шаг вперед, еще один, еще два, целых еще пять шагов вперед, развернулась, прошагала без счета в ширину – или в длину? – и еще через секунду с легким ёканьем в солнечном сплетении поняла, что была бы рада, если бы под рукой вообще хоть что-нибудь оказалось. Теперь она не уверена была даже насчет того, с какой стороны остались ступеньки, с которых она сюда сиганула. Может, лучше было остаться во второй комнате нудевших качелей? – теперь и эта звуковая ниточка, по которой запросто можно было выйти обратно, оказалась обрезана ватной дверью.

Кошачьим чутьем направление чесалось где-то под правой лопаткой.

«Ничего страшного, – утешала себя она, хотя, впрочем, испугана совсем не была, – в крайнем же случае можно же выйти даже и на ощупь...»

Она набралась смелости, выставила перед собой руки – и сотворила в темноте стену.

Руки, впрочем, тут же и отдернула – почувствовав неласковую родственность текстуры стены своим собственным кошмарным цыпкам: неизбежным весенним кровянящим цыпкам, которые мать чем только ей ни лечила: постным маслом, сметаной, синтомициновой эмульсией; говорили, что нужно намазать маслом коровьим и обмотать калькой – но бутербродом быть она отказалась; говорили даже, что надо на них пописать; но платный врач сказал, что все равно само пройдет – что это – весеннее; что это – переходный возраст. И что у нее вообще слишком нежная, чувствительная кожа – и что это на всю жизнь. И что московский климат – эти оттепели и заморозки – кто ж и перенесет; но, что, скорее всего, это – вообще, нервное. Врач вывалил, словом, на выбор, сколько хочешь утешительных версий. А тылы ладоней и запястья так по-прежнему и остались – как наждачной бумагой растерты и раздрызганы.

Потерла наждачной стороной ладони о щеку. И ощупала перед собой, еще раз, зыркающую темноту, не доводя рук до рифа стены, – темнота отражала, казалось, удвоенно, собственное ее тепло, и даже ее намерение двинуться, пошевелить перед собой пальцами грозила запечатлеть: казалось, можно даже надышать – и увидеть на вале темноты заиндевевшие капельки. С левой щеки дул, легкой флейтовой струйкой, холодок. «Там, наверное, еще один проход?» – подумала она и развернулась.

Забыв о сугубо прикладной цели визита, вытянула вперед ладони – растопыря пальцы и любясь фиолетоватыми кругами и полукружьями, которые, как плеск в воде, зримо расходились в черноте от палечных дикобразов и, упираясь в темное тело темноты, упруго его от себя отодвигали.

Вдруг темнота неожиданно тронулась, засопела, запыхтела, напряглась, чиркнула и лопнула. Разрешившись мальчиком лет пяти, с выпученными сонными глазищами – на которых эхом пламени спички была залита жаркая лессировка.

– Жиррраф, да это ты спички спёррр?!

– Па... А здесь какая-то тетя писает!

«Ничего я не писала, – молча и рассеянно рассматривая мальчика, – подумала она. – Просто на корточки присела...» Но оправдываться было не видно перед кем.

Мальчик от испуга дунул на спичку. И темнота задернула полог. Не будучи вполне уверена, добросовестно ли соблюдены свето-звуковые последовательности грома и молнии, она все-таки успела противозаконно-молниеносно обернуться назад, через правое плечо, чуть не упав, раскрутившись юлой, оперевшись на противнейший, холодный, песком припорошенный пол кулаком – и на задуваемой вспышке увидеть вверху спуск: как спуск в бассейн – в продолговатый растянутый зал с не шпатлеванными бетонными стенами с выбоинами и рытвинами, в

котором она находилась – и слева, по стенке, узкую бетонную лестницу без перил (ух, хорошо, что не полезла, не посмотрев! А высоко-то как! Как же я спрыгнула и ногу не сломала?!) – а уж и вовсе на неправдоподобной, емкой выдержке взглянув в глубину, за мальчика, на скорый глазомер разложив подвальную перспективу сквозь удивительно низкий, вырезанный в стене как будто как раз под его габариты лаз, выхватила взглядом очень короткий коридор, распирающийся еще одним, соседним помещением, задние стенки которого уже не требовали никакой перспективной вырисовки: совсем утопали во впуклой овальной черноте.

Не дожидаясь, пока сопящие шумные шаги, трясущие спичечным коробком, как кастаньятами, добегут до того, кто ловче с этими спичками справится – она как можно тише, но очень-очень быстро (отчего шаги получались какими-то затянутыми вверх марсианскими прыжками – и все равно приземлявшимися с отвратительным шорохом кроссовок) побежала к высмотренной лестнице, навернулась о первую же ступеньку – зато тут же уверилась: ага, вот, тут она, и, заодно, ощупала страхующе выпавшей рукой сразу ступеньку пятую? седьмую? – и уже без счета, для верности только чиркая левой ладонью по стене, чтоб не навернуться уже через край с верхотуры, вынеслась ввысь – уткнулась в бетонный предел, пошла вправо, как мнимый слепой попрошайка, нашарила дверь, и, в результате склочных, быстрых, отчаянных косноязыких переговоров с зажевавшей и все никак не могшей сплунуть клеенку и вату ручкой, раскоцала, наконец, темноту, на два полюса, в середине дав проклянуться казавшейся чуть ли не рассветом угольной полутьме следующей комнаты, – и уже кошачьей трусцой раскручивая обратную память до самого ржавого... уя, поцарапалась все-таки... – листа, вынеслась на улицу.

Старух куда-то как ветром... Коляска опрокинутой на бок валялась рядом с качелями. Оба несимпатичных внучка – и тот, который восседал прежде на качающемся троне, и тот, кто метил его свергнуть – молча ползали теперь на животах в пыли – в ямке под все ходившим, скрипя, взад-вперед чудовищным молотом широкого, со всей тяжестью детской решетчатой арматуры, сидения качелей.

Не известно было – удалось ли все-таки второму побывать наверху – но, судя по тому, с какой хладнокровной мстительностью первый лупасил его по голове красной лопаткой для песочницы – двух мнений на этот счет быть не могло. «Только, ведь, сердечное, желудочное, почечно-печеночное, любимейшее дело жизни могло отвлечь этих бабцов от сладкой страсти внукомучительства... – заключила она. – Стучать побежали, сучары старые...» – и не дожидаясь оправдома или участкового, ускорив шаг, перебежала пыльную ясеневую пустошь, вывернула из двора, и, нагнав, детскими прыжками-копяжками, между тесных домов еще три заасфальтированных, но, судя по гигантским глубоким трещинам – крайне сейсмически неспокойных, смежных дворовых пролета, выбежала уже на Забелина.

Радуюсь, что и сам рельеф здесь подсказывает ногам, куда бежать – и поэтому заблудиться уже никакого шанса, – хотя до сих пор чувствовала безграничайший восторг благодаря именно этой восхитительной возможности, вероятности, шансу заблудиться одной в родном городе, – уже шагом, хотя до ужаса то и дело хотелось подпрыгнуть, – отправилась под гору к метро.

«Как же рано здесь, на хребте Москвы, все стаяло и профенилось! Даже звук кроссовок какой-то звонко-сухой – у нас-то еще крошево черного льда под локтями у улиц, на Соколе – а здесь пригрелись домики, как на спине у кита, взломавшего лед и вынесшего их раньше всех к солнцу!», – подумала она, и уже было хотела свернуть и забежать купить себе на Солянке в «Продуктах» – да хоть что угодно! – что будет – хоть спички! (потому что даже в этом акте мнилось сегодня тоже что-то блаженно незаконное: никто не знает, где она – и что делает – а делает что в голову взбредет!) но тут вспомнила, что в кармане куртки – только пятак на обратную дорогу, на метро.

Спустившись у буро-кирпичной, мертвой, церкви, аккуратно пронырнув толкотню подземного коридора и войдя в вестибюль метрополитена – не потому, что и вправду собиралась немедленно отправляться восвояси – а хотела как-то лихо, по-собственнически, удостовериться: вот, пойду пошлаюсь наверх, совершенно одна, куда хочу, и сколько хочу – а потом сюда вот приду, – к изумлению своему, она сразу же увидела, что и Мистер Склеп, и вся их крошечная стайка – носатая художница Лада из десятого, и Лиза из девятого с прической то ли под Лорелею, то ли под Аманду Лир, и круглолицый, с очень жирным носом и низким скошенным назад лбом (казавшимся еще меньше из-за мелкого вихра), узкоглазый, приземистый, как бы к земле крепко и квадратно прибитый, чем-то похожий на тунгуса (народа, никогда ею не виданного, но представлявшегося ей именно так) отличник Валя Хомяков (ее уже одноклассник), – еще здесь – никуда не уехали; а стоят они теперь у турникетов, окруженные улыбочивыми какими-то, напористыми, на вид чуть диковатыми, из-за не снимаемых улыбок, молодыми ребятами.

Мистер Склеп тем временем, нисколько не замечая ее к ним приближения (да и вообще ничего, кажется, не замечая), прошествовал к крайнему турникету, держа сумку на отлёте, и, как только приземлил ее, углом, принялся, не вытаскивая магнитофон из сумки, опять мухлевать с кнопками и извлекать варварские звуки.

«Нееееет... Неужели опять сейчас это безобразия начнется?!» – не без восторга подумала она и чуть притормозила.

Кожаный пиджак Мистера Склепа (чересчур длинный, чтобы называться курткой, и чересчур короткий, чтоб закосить под пальто) своей приталенностью, распахнутостью, всей этой висящей системой категорически не подходившей к нему белой рубашки с толстым, грубым, глубоко расстегнутым воротом (ниже рубашка как-то душераздирающе ходила волнами на его запредельно худой и запредельно же длинной фигуре – и раздолбайски вывешивала расстегнутые манжеты из-под потертого канта кожаных рукавов), и неожиданно возникавшими, подо всем этим, зауженными, отставшими от моды, легкими советскими темно-коричневыми брюками (тоже, как будто взятыми из чужого гардероба, под совсем другой наряд) – а, по большей части, каким-то невыразимым, всей этой сложной, двух с лишком метровой, композиции свойственным, осанистым небрежным шиком, с каковым Склеп его, этот пиджак, да и вообще всю эту бутафорию на себе нес, – вызывал у нее немедленно в памяти такие щекочущие зубы слова, как жюстокор и камзол. Левый, на треть оторванный в плече рукав (о, да даже и больше – наполовину, – висящий уже, как попросту сказали бы в школе: «на соплях»), при этом не только не снижал, но и усугублял впечатление, что волшебство это достигается не конкретными мелочами одежды, а каким-то бесплотным, как будто в воздухе висящим рядом с ним, ненамеренным даже, присущим лично Склепу запредельным же, не сознаваемым даже, наплевательским щегольством, облекающим его в одежды невидимые, и уж конечно никак не связанные ни с материей, ни с отдельными ее (а уж тем более – отделившимися) кусками.

Когда, окулившись в одеяло, ночью, не закрывая даже глаза в привычной, ручной, выдрессированной, одомашненной темноте своей комнаты, Елена заново рассматривала все эти живые картинки дня, именно этот сорванный с петель рукав потребовал постановки просмотра кино на паузу, был увеличен, подвешен, взвешен, рассмотрен, и стал ликующей, кодирующей как бы весь этот отрывок дня нотой, иероглифом, по которому, – как она была уверена, – Мистера Склепа из любой темноты теперь выудить можно – и можно, не рискуя никого и ничего растерять, сомкнуть теперь веки.

Склеп появился чуть меньше месяца назад, и сразу же вызвал у всей школы блаженную температуру скандала. Скандала, которым, собственно, был он сам, этот непомерно высокий, худой, угловатый, с роскошными вороными волосами, плескавшимися ниже плеч, говорящий отрывисто и странно, и всегда исключительно про волшебство, а не про какие-то гнусные мещанские блевотные ботву и гнилые корнеплоды штампованных мозгов, как все учителя, да

и вообще как все другие вокруг, – молодой, неприлично молодой человек; не вмещающийся – даже зримо – в габариты школы, ни в какие прочие убогие габариты – он в первый же день доверительно сообщил ее классу, что прежде преподавал на журфаке в полиграфическом институте и, сказал он («Это уже по секрету»), создал там со студентами-журналистами тайное общество.

– За это меня и выгнали. Именно! – добросовестно и доброжелательно доложил Склеп – причем припечатавшее в конце фразу, как сургуч, «Именно!» звучало скорей как «Аминь!», как торжественное заклятие, как тайное имя – но только не как нищая частичка русской речи.

И тут же предложил секретное общество создать новое.

И теперь каждый день казался Елене чудом – что его еще не вытурили и отсюда.

Склеп начал с того, что притащил в школу баллончик, баллон, баллониче, чудовищно раскрашенный, нес его навтыжку, выставив перед собой, с пальцем на изготове, с самого порога – и до четвертого этажа.

«Дихлофос, клопов-учителей выводить», – с наслаждением подумала Елена, следя за этим сосредоточенным шествием.

Урок у него был сначала с 9-м, увы, со старшим, классом – не у них. Так что назначение, природа и содержание баллона должны были остаться сладчайшей загадкой еще как минимум целый час.

Грозивший обрушить барабанные перепонки и стены звонок, в секунду вынесший в коридор весь ее класс из каморы пыток стервы-алгебраички (даже показалось, что зубодробильный звон – на самом деле, не причина, а результат бешеного движения масс, и его просто вклеили при монтаже по ошибке чуть раньше, чем нужно), не распечатал, однако, дверей класса, за которыми заперся с девятиклассниками Склеп. Прикладывали к дверям кто ухо, кто рыло, скреблись, стучались, тьякали – ни-че-гошеньки. Ни-гу-гу. Захар, толстовый коренастый модник, с модными же малиновыми пубертатными прыщами во всю рожу, коротко выбритый сзади у воротника, а на маковке, на затылке и темечке все время стягивавший, жамкавший, мацавший и перекидывавший то туда, то сюда, с томным выражением глаз, плюху рыжеватых, чуть высветленных перекисью водорода, прямых волос, предлагал даже достать ключ из замочной скважины методом Филиаса Фогга – подсунуть листок бумаги с этой стороны под дверь и аккуратно пропихнуть ключ (вставленный изнутри) заточенным карандашом, и сразу же рвануть этот поднос на себя, выдернуть ключ из щели под дверь, и быстро вскрыть дверь. Ни звука из класса по-прежнему не было. Так протянулась переменка. Половине любопытствующих ждать надоело, и они влились в орущий, лягающийся, волтузящий, пинающийся, с матерным бризом и с брызгами пены слюны, океан коридора. И только когда прорезался уже звонок на второй урок, дверь с подергиванием отперлась, и оттуда девятиклассные обормоты, знаменитые на весь район своей буйностью, не вывалились, как ожидалось, и даже не вышли, а стали выплывать, по одному, тихие, будто загипнотизированные, задумчивые – какими их, наверное, мать родная никогда не видывала. Не отвечали они ни на единый вопрос, и вообще ни слова на паркет не обронили, и только кудрявая разбитная Настя сделала глаза размером с сушку с маком и молча махнула головой назад: мол, сами ща увидите.

В классе царил полумрак. Зеленоватые шторы (грязные настолько, что могли бы сойти уже и за коричневые) оказались задернутыми. Верхний свет был выключен. Пахло парафиновыми свечами и еще чем-то фиолетово-пряно-цветочным, разобрать происхождение чего было вот так вот с ходу невозможно. Огарки толстых свечей, как кальциевые сталагмиты, выросли и на желобе для мела под классной доской, и на передних партах – альтамيره матерных скальных царяпин. Мистер Склеп преспокойненько сидел за столом, рывками записывал что-то в блокноте и явно не замечал вваливающихся новобранцев.

– Именно. У нас был сейчас Достоевский, – произнес он, обратив, наконец, внимание, что класс уже полон – скорее так, как будто доканчивал какую-то недоговоренную мысль – чем здоровался с совершенно незнакомыми ему еще тридцатью оболтусами; и, резко встав и

обогнув учительский стол, решительными шагами направился к первому же окну и чуть не сорвал с крокодилийх прищепок на кольцах шторы – но напустил-таки свету.

– Будьте любезны! Атмосфера... – гаркнул он, как какая-то гигантская птица приподнявшись на мысках и обращаясь к неведомым абонентам по правому борту класса, указывая направление своей просьбы разве что крупным, великолепным носом; но те, к кому просьба относилась, как-то невероятным образом догадались – и раздернули остальные окна.

– Именно! – удовлетворенно подытожил Мистер Склеп. – А у нас с вами атмосфера совсем иная: Ханс. Именно. Кюхель. Гартен! – отрывисто, гортанно, кратко, как будто разделяя все слова (а длинные слова – так еще и посередине) точками, проговорил он – и, для пущей наглядности, обернулся к доске и крупными буквами записал: Г, О, Г – кроша мел так, что, казалось, сверху, над доской, происходит какой-то катастрофический оползень, возможно, даже начинается землетрясение – на этом чистописание ему надоело, да и тема урока – тоже: он бросил мел, с вызовом на лице развернулся, и в каких-то невероятно личных деталях, на одном дыхании живописал трагедию своего друга – молодого нищего безвестного писателя, приехавшего из провинции в столицу, только что опубликовавшего в литературном журнале свою первую повесть, и получившего такой разнос в критике, такую издевательскую, насмешливую, уничижительную реакцию не только маститых авторов, но и немногочисленных благожелательных друзей, после которой навек надо забыть о том, как марать бумагу.

– И, что, вы думаете, он должен сделать? Что вы ему посоветуете? Вы – психологи или его друзья. Говорите! Советуйте! Это вопрос жизни и смерти. Я должен идти к нему вечером и дать совет. Мой друг честолюбив. И раним.

Имя друга Мистер Склеп припасал на десерт.

– На самом деле, это уже произошло. Вчера. Он уже сделал свой выбор. Каков его выбор? Как вы думаете? Что он делает в этой ситуации? Версии? Я вам скажу, что он делает в этой ситуации. Кончает с собой.

Класс замер.

Склеп подошел к доске и гневно, размашисто, аннигилируя мел, вывел еще одно, очень большое, О.

– Кончает с собой. И ненаписанными тогда остались бы бессмертные «Мертвые души», – на этих слова он дорисовал финальную Л и мягкий знак.

Собственно, Склепом его прозвали сразу и безоткатно: по какой-то музыкально клейкой аллитерации фамилии. Склеп жонглировал эпохами и временем с той же победоносной легкостью, что и кусками стилей в своей одежде – словно, одеваясь в каком-то небесном средневековом закулисье для своей экстренной миссии (материализации в школе), прихватив наспех у костюмера первое, что подвернулось, прошагав через примерочную и гримерную, даже не посмотрев в зеркало, он могучей рукой отстранил проверяющего ангела перед выходом на подмостки: «Времени нет». Времени действительно было в обрез. И поэтому жонглировал Мистер Склеп заодно еще и горшком из-под цветка, вышвырнув предварительно, одним рывком, землю с донца в соседний судок бальзамина на подоконнике.

– Вот! Вы видите, вот здесь, на самом краю горшка... – тыкал он своим очень длинным худым пальцем в кромку, – ...здесь, как по треку, скользит Манилов! Еле балансирует на краю! – Мистер Склеп переводил пальцы, наклоняя темный грязный горшок, обращая его внутренности, вместе с карабкающимися героями «Мертвых душ», взорам класса, и комментировал драматичнейшее и быстрое передвижение перстов: – Вот! Чичиков спускается по спи- рали еще ниже – вот сюда, еще на сантиметр глубже в эту преисподнюю: тут, на среднем уровне ползает по кругу Собакевич. А там, там, на самом доньшке! – Мистер Склеп уже и вовсе крутил глиняным инструментарием во все стороны, переворачивая к онемевшему классу то дном, то раструбом. – Вот! Видите! Видите?! Здесь – дырка! И на самом краешке дырки еле зацепилась Коробочка! На самом-самом дне! И мы с вами уже даже не можем разглядеть, понять –

что это – человек – или насекомое! Вот! Видите?! Видите?! Вот она! Еле цепляется уже! Почти проваливается уже в дырку! Уже почти провалилась! И сейчас ее смоем потоком жизни! – угрожающе тянулся уже к пупырчатой валкой пластмассовой синей лейке с водой на подоконнике Мистер Склеп.

И Елена истошно, до обморочного восторга, завидовала его дару за секунду творить Вселенную из подручного материала – и, немея от зависти, вперившись в него, сжирала глазами – боясь пропустить даже какое-то дрожание воздуха вокруг него, боясь хоть песчинку из этого роскошнейшего землетрясения не заметить – из этого армагеддона, на ее глазах устроенного Склепом всей доселе виданной педагогике; и, по каким-то невидимым, неслышимым – но всем существом чувствуемым, ликующими рецепторами распознаваемым резонансам, сразу же поняла, что Склеп – гонец, присланный из той державы, к которой она сама принадлежит.

На следующий же его урок, по чьему-то доносу, заявила директриса, Лаура Владимировна – женщина лет пятидесяти, с вечно лоснящимся малым малороссийским носиком и трогательными, ярко-шатеново крашенными жиденькими волосиками, уложенными на макушке даже не в халу, а в крупный бублик, на который крепился еще один бублик – поменьше, затем еще один, совсем маленький – с какой-то трогательной системой шпилек (почему-то ощутимо приятных), так что в результате конструкция головы походила на каштановой краской выкрашенную ракушку улитки – логично дополнявшуюся всегда доверчиво махавшими, сыпуче прокрашенными ресницами и наивным взглядом, – женщина, в общем-то, беззлобная и даже чем-то умилительная (рассказывала про себя, например, как, когда ее выпустили с официозной поездкой в ГДР, она на все выданные деньги закупила искусственных цветов: «Ну не дура ли я? – прибавляла директриса с добродушным вздохом. – Теперь, вон, у меня дома стоят! Все гости, когда впервые приходят, думают, что они живые!»), но крайне безвольная, и от безвольности послушно отдавшая власть в школе на откуп старым, запыленным, заплесневелым идейным стервам из парткома.

– Игорь... Простите, все никак не могу запомнить, как вас по батюшке... – осторожно протиснула свой тонкий голосок директриса, продираясь к Склепу сквозь толпу окружающих любопытствующих балбесов.

Склеп сидел за учительским столом, вычерчивал какие-то загадочные многомерные фигуры (длина, глубина – и щедрая высота, неожиданно скругляющаяся на пике в буквицу-загогулину) в своем блокноте, и на нее не обратил ровно никакого внимания.

– Игорь... Игорёк... Можно я вас так... Ласково... По-матерински? А? Вы не против, я надеюсь? Я вот все хожу за вами, вижу вас на переменах, и думаю себе такую думку... – осторожно заудела она, уже над самым его ухом (удобно задрапированным, впрочем, длинной прической: на прямой пробор раскинутыми и свисающими с обеих сторон двумя ровными крыльями), как только подобралась, наконец, к нему полу-сбоку, полу-сзади.

Склеп чуть привскинул голову, отчего показалось, что его жесткие, прямые волосы достают аж ниже лопаток, ровно на миг оглянулся на нее – и вернулся опять к своим мудреным геометрическим упражнениям.

Директриса набралась смелости и елейным голоском закончила свою «думку»:

– А почему бы вам, дорогой Игорь, не отдать эту вашу кожаную курточку девочкам? У вас здесь порвано немножко... Насквозь можно руку... А? Защить на уроке труда? А? Они вам быстренько всё зашьют! Я распоряжусь! Почему бы вам не... Почему бы вам не... – подплясывала уже директриса, наступая тупыми каблучками на ноги ученикам и пытаясь хоть как-нибудь исхитриться въезлзиться в поле зрения (а, паче всякой мечты – еще и внимания) собеседника.

– Есть потому что в жизни, наверное, о чем подумать кроме этого! – вдруг обернулся и оборвал ее рулады Склеп, взглянув на нее в упор – с таким быстрым взрывом гнева в глазах (которые, впрочем, тут же, ровно через секунду невозмутимо опять перевел на свои фигуры

в блокноте), что директриса съежилась, занервничала, задергалась, как будто и впрямь почувствовав вдруг, рядом с чем оказалась; не могла выговорить ни звука (что, впрочем, в окружающем гвалте было мало заметно); а потом испуганно, стараясь поскорее задрапировать, замуфлировать полученный от него ответ обычным мещанским поносом, затараторила:

– Ой, ну что вы... Вы обиделись? Не обижайтесь! – и суетливо, давя каблуками ноги резвящегося кордебалета (уже в обратном направлении), ретировалась к дальнему ряду, и весь урок просидела на задней парте молча.

Склеп, впрочем, никаких интересных коленец при надзирательнице не выкидывал – как птица, не поющая в клетке.

И только на следующем уже уроке, взбадривая пригорюнившуюся было публику, чуть не произвел ядерный взрыв.

– Кто-нибудь скажет мне, что это такое? – торжествующе вытягивал Склеп перед собой в кулаке, размашисто разгуливая перед доской (эффектно поскрипывая расстегнутыми полами бессъёмного кожаного камзола) самую обыкновенную советскую пластмассовую ручку, скрученную из белого носа и фиолетового задника. – Вы полагаете, наверное, что это ручка? Обычная шариковая ручка. Да. Замаскировано и впрямь очень профессионально. Выглядит действительно безобидно. Я вам скажу, что это на самом деле: внутри – капсула, которую мне дали на сегодня, исключительно на один день, напрокат. Мой друг работает в Курчатовском институте атомной энергии, он ее вынес незаконно из лаборатории. Я обещал вернуть завтра. А если я ее сейчас разломлю пополам, вот здесь, перед вами, эту капсулу – то произойдет взрыв мощнейшей силы, и школа будет снесена с лица земли. Мы все можем через секунду погибнуть.

– Врете! – не выдержал апатичным тушканом сидевший до этого на первой парте Хомяков – ботан, безбожно равнодушный к литературе, зато патологически одержимый физикой, да еще и, по совместительству, сладенький тихий любимчик-подлиза ненавидимой всеми алгебраички. Рта Хомяков никогда как следует не закрывал (верхняя губа не натягивалась), и красовался двумя чуть выпиравшими верхними передними зубами, так что казалось, что на лице его всегда полуулыбочка. – В смысле... Неправду говорите! – испугался сам же своих слов Хомяков и с мнимой полуулыбкой добавил: – Обманываете! Разыгрываете нас!

Однако при этом раскосые глаза Хомякова, – пожалуй, единственного из всего класса, догнавшего, что, судя и по габаритам, и по названному источнику взрывного элемента (как раз оттуда, где в тиши кабинетов ученые сочиняют всем смерть), в случае какой-то невероятной вероятности, слова Склепа вполне могут оказаться правдой, – засветились настоящим страхом.

Склеп развернулся к нему, спокойно встал, чуть расставив, как будто для пушкого упора, свои коричневые остроносые туфли, и приготовился разломить ручку пополам.

Хомяков вскочил из-за парты и шустро вылез из баррикады стульев:

– Дайте-ка я посмотрю! Я в этом немножко... Не надо ломать только! – и уже совсем сорвавшимся, гнусавым, вечно аденоидным, голоском, видя, что Склеп изготовился все же довести взрывной эксперимент до конца, почти уже крикнул: – Не трогайте ничего!

– Хорошо. Я на минуту доверяю ручку вам. Берите! – молниеносно и виртуозно сменил игру Склеп, сделав резкий шаг к отличничку и, пока тот не успел опомниться, всучил ему ручку и быстро отошел от него на порядочное расстояние. – Вам делать выбор. Ломайте сами. Два варианта: если вы правы – и там нет заряда – мы все спасены. Если заряд есть – мы всем погибнем. Ломайте.

От такого поворота застыл, туповато впившись взглядом в Хомякова, даже прыщавый раскрасневшийся Захар, изысканно, наотмашь, стоя, лупцевавший, пользуясь своим бычьим превосходством, металлическим грязным совком сверху, по голове, компактного, согбенного, белобрисого, коротко стриженного Зайцева, только что с грохотом нечаянно (из-за изъяна щеколды) выпавшего из низенького узкого отделения для карт заднего стенного шкафа, куда его заперли за какие-то прегрешения (или просто так, для красоты) на предыдущей переменке.

– Нет, ну зачем же ломать... – Хомяков мялся, неестественно хихикая, давя слова носом, а ручку аккуратно держа в свято-горизонтальном положении и с опаской разглядывая ее со всех сторон.

Склеп, невозмутимо и безмолвно скрестив руки, стоял в сторонке.

– Гений, гений... – восхищалась Елена на следующей переменке – в туалете, следя одновременно за тем, как Аня Ганина своими продолговатыми выпуклыми красивыми ноготками, по миллиметру, с разных сторон, с благоговением разворачивает фольгу с бутербродом. Аня при этом безостановочно курлыкала и приговаривала:

– Интересно, что муля мне тут сегодня положила? Интересно...

Мать Елены, еще полгода назад, заглянув в школу, чтобы передать ей ключи, спросив у одноклассниц, где ее дочь, и услышав легкое, само собой разумеющееся: «А она в туалете сейчас, на четвертом, с Аней Ганиной завтракает», – чуть не упала в обморок от ужаса: «Как? Девочки! В спецшколе! Кушают! В туалете?!» «Конечно, мы всегда там проводим время на переменах! – охотно, хором подтвердили одноклассницы. – Мы же не там, где унитазы, стоим, а там, где раковины! В первом отделении!» Во втором отделении этого школьного балета мать устроила страшный скандал директору, используя малознакомые той термины, как эстетическое чутье, и – уже гораздо более знакомые – «пожалуюсь в Роно» (таинственнейшее, никем никогда не виданное заведение, в котором Елене заочно всегда чудилось нечто мифологическое: «Золотое Роно»).

Добрые традиции, впрочем, уничтожить никому не удалось: женский сортир на четвертом этаже оставался единственным местом, куда не сунули носы учителя – и хотя бы перемены провести без их рож в этом элитарном закрытом клубе с расколотым белым кафелем и побольничному грубо на нижнюю половину замазанным белой краской окном (напротив, через пролет здания, был тубзик мальчиков), хотелось без исключения всем.

– Гений, – с наслаждением еще раз повторила Елена, и вынуждена была приняться за уже развязанный, собственный, целлофановый пакет с завтраком, из которого шел непереносимый (в моральном смысле) запах черного хлеба и яблока – коктейль, от которого слюни выделялись уже просто сами собой.

– Ну, скажем так: весьма и весьма необычный молодой человек... – зажевала пафос половинкой бутерброда с маслом и шпротным паштетом Аня. – Спорим, его выпрут скоро. Не жилец.

И когда на следующий день Мистер Склеп, явочным порядком щедро зачислив весь класс в только что созданное новое тайное общество (с неведомыми, но явно прекрасными целями), пригласил всех после уроков прогуляться с ним «в гости к интересным людям» – не уточнив кому, – а Аня, сделав лицо сковородой, на свой любимый манер заявила Елене, что никуда с ней не пойдет, потому что у нее дома, якобы, дела (вечная, вечная Анина ширма!), Елена вышла за порог школы, едва удерживая в себе ядерную смесь из двух почти равновеликих эмоций: во-первых, из ярости в адрес любимой подруги; а во вторых из свербящего предчувствия какого-то несказанного, неслыханного чуда.

II

На тротуарах душераздирающе несло растаявшими окурками. Разледеневшая, едва-едва, на лысых клумбах земля пахла рыхло и гниловато. «Как та подплесневелая земля из цветочного горшка, которым Склеп перебрасывался из руки в руку, как земным шаром», – механически подумала Елена, когда, засмотревшись на отражение коричневого, пеночного на вид, но легкого, не страшного, в трех местах насквозь дырявого – так что спокойно можно бы вдеть пальцы – продолговатого облака, медленно, наступая кроссовками прямо в воду, стараясь не рабить изображение, параллельно с облаком, ускользавшим из-под ног со скоростью ее шагов,

так что не понятно было – кто кого подгоняет, пересекала огромную, как небо, гладкую синегрутную лужу посреди ухабистого асфальта.

Жалко было уже чуть обрызганных на щиколотках белых джинсов – летних, легчайших, из жатого хлопка, на миллионе прекрасных застежек хромовыми воротцами и двойных перехлестов хлястиков, – мать бы, разумеется, не обошлась без ахов, если б видела, во что она сразу после школы переделалась, – но так хотелось поторопить весну! Лучше было замерзнуть до жути – чем встретить желанную гостью весну в боязливом, недолжном наряде. И до слез жаль было угрюмых прохожих, как волю, впрягшихся в возы зимних шуб и пальто. И жаль было всего этого невнятно мечущегося под ногами голубого – до смешного голубого ведь! – неба, как будто, вот-вот, всё пытающегося проклюнуться – и опять через сотую долю секунды запаковывающегося, опять запахивающегося кем-то в уродливые грузные зимние грязно-облачные одежды. И шемящая, почти непереносимая жалость – не понятно к кому – к себе, к миру, от этой режущей чувства какой-то безумной канители – и сверху, и под подошвами – до глупого спазма аукалась в солнечном сплетении – и через несколько шагов мнилось уже почему-то, что ее во всем в этом есть какая-то вина – в том, что по-настоящему-то весна так долго не наступает; в том, что после оттепели опять подморозило – и вот только сейчас отпускает зима скрюченный прокуренный кулак; и чувствовалось, как будто нужно поторапливаться; легкая паника – иначе не успеешь; и как будто все это какой-то вызов – и эти лужи, и этот талый запах, и эти синие, выстиранные в луже до голубизны, быстрые беззащитные клочки неба – и что на вызов этот надо как-то срочно отвечать – а как – неизвестно!

И чуть обидно было еще и за бордовые от ветра и влажности запястья и кисти, которые добросовестно залила, выбегая из дому, чудовищным, малиновым, пудрой и кефиром пахнущим кремом «Утро», дарёным матерью, – снадобьем в крайне неудобной, точно негодной для крема стеклянной бутылочке с издевательски узким горлышком (приходилось, в буквальном смысле, выбивать по капле: опрокидывать и бить флаконом по ладони, с такой силой, что там на несколько минут потом оставались маленькие круги, как следы от прививки), но от этого дефицитного зелья кожа не только не стала выносливей, а чувствовала себя вдесятерне беззащитной на ветру, и уже приготовилась покрыться (вместо чересчур замедливших, зазевавшихся, метаморфоз почек на придорожных деревьях) свежими цыпочными трещинами.

У метро Сокол, шадя разбудораженные чувства, лежала, ползала в окопах привычная законсервированная зима. Вернее – грязное безвременье. Огрызки снега огрызались дурными черными зубами из своих бермудских заповедников на обочинах. Неживые, как будто мародерами обобранные, придорожные липы по пояс были обданы веществом обидного коричневого цвета, так что даже коры было не видать – как будто в центре Ленинградки пробурили скважину, и теперь началось веерное распределение нефти по окрестностям; одним коричнево-черным мазком сплошняком были выкрашены на газоне в гарь и валуны нерастаявшего снега, и, также, бугры прошлогодней гнилой травы у бордюра на глинистых проталинах – будто со всего этого газона кто-то готовился снять посмертную маску. У союзпечати, на асфальте, в центре бензиново-черной пятиметровой слякоти, валялось мороженое эскимо, почти растаявшее, разошедшееся кругами и полукружьями жирных белил, кем-то не удержанное на хорде палочки – и не известно вообще даже и надкусанное ли.

Словом – здесь все выглядело ровно так, как могло выглядеть и в холодном октябре, и в теплом декабре, и в сбрендившем феврале.

И только трамвай вовсю дребезжал весной.

Полоумная в желтом легком платочке аккуратно переводила через рельсы белую козу, с подвязанным вокруг ее шеи на голубой ленточке бубенчиком – звеневшим громче, чем только что отъехавший в центр трамвай.

У входа в метро, к изумлению Елены, маячил Хомяков. Она, было, подумала, что это – ошибка, совпадение – и что ждет он не Мистера Склепа, а, из какого-нибудь рыбного магазина,

собственную мать с баулами. Но Хомяков шагнул ей навстречу и вежливо выщедил, хмыкая через слово:

– Здравствуй... Ну, что... Мы одни с тобой, похоже... Что ж, подождем... Поглядим, кто еще придет...

Через минуту виляющей походкой подвалила хрупкая Лада, соседка Елены – которой она успела, выбегая, звякнуть в дверь (звонок отзывался модным, ни у кого из друзей неслышанным, электрическим соловьем) и заинтриговать тайной экспедицией со Склепом. Лада собиралась поступать в Строгановку, но рисовать, кажется, от всей души ненавидела: битый год все никак не могла домалевать марким пестрым маслом свой же собственный автопортрет, безвременно выставленный на огромном мольберте в центре жлобски-сияющей, с идеально залакированными, начищенными паркетными и музейными зеркалами в витой бронзе, богатой квартиры, – не могла, и слава Богу, потому что тайною тайн оставалось: как, с какого бодунищи, из-под кисти очаровательной семнадцатилетней девушки могла выпрыгнуть на грунт столетняя кривая перекрученная страхолюдина, сидящая, однако, в широком, сугубо реалистично выписанном с натуры (в собственной гостиной) антикварном кресле. Большескулая, худая, с крупным носом и воробыными нахохлившимися щечками, и нахохлившейся же прической, всегда улыбающаяся как-то рвано, разодранно, как урловый паренёк – во весь рот, бесстыдно высоко обнажая верхние десны, – одновременно, какой-то тонкостью и плавностью движений рук, какими-то удивительными теребящими обоняние духами и беззащитным взглядом, реальная Лада моментально распространяла вокруг себя шарм, какового не могла добиться ни одна из записных, расписных, размалеванных красоток в школе. Всегда игравшая на диссонансе, беспечно, быстро и неизящно вилявшая при ходьбе узенькими бедрами, – да, собственно, и не ходившая, а всегда передвигавшаяся полубегом, полуподскоками, – намеренно грузившая речь свою даже не матерщиной (в прямом, эмоциональном, ругательном смысле), а грубыми мужицкими словцами, по-житейски описывавшими окружающую реальность и примитивность отношений между героями школьных сплетен (которые она азартно, по ролям, воспроизводила) – всем этим, Лада, кажется, силилась слегка сбить пафос, заодно, и будущей профессии, навязанной таинственными богачами-родителями со своеобразными, мануфактурно-художественными представлениями о престиже (хотели, чтобы дочь стала дизайнером) – и обезоруживающих, бесконечно женственных одежд, которые Лада то покупала за бешеные деньги с рук у фарцовщиков (при этом, в обратной пропорции: чем меньше материи уходило на маечку, тем больше она стоила месячных зарплат); а то – шила себе шмотки сама – да так, что при полном отсутствии сносной индивидуальной одежды в магазинах, неизменно (как и в этот момент, у метро) мела тротуары ренессансными юбками, кроила их за десять минут, вместе с каким-нибудь кимоно для после-душа-дома и игривой жилеткой – из отходов того же отреза. Взрослые же феерические романы, приключавшиеся в Ладиной юной жизни, – нюансами которых та без спросу охотно делилась при встречах, – до того потрясали воображение самыми неподходящими местами действия, и антуражем, и скоростью, и дерзостью, и фантазмагорическим отсутствием духовного общения скотов-героев – что Елена предпочитала целомудренно полагать, что всё это – Ладины художественные фантазмы и враки от одиночества.

Лада, похоже, слегка стеснявшаяся, что оказалась в компании четырнадцатилеток, тарасилась на квадратурного Хомякова (имевшего, впрочем, только что пробившиеся микроскопические усики над толстой вздернутой губой), издевательски-томно с ним заговаривала на «вы», а как только он смущенно отвернулся, немедленно иронически подмигнула в его сторону Елене, и тут же с шутивным восторгом закатила к небу глаза: де, «Гляди, какой кавалер нам достался по благу! Перепал! Везука! Даже форму школьную не сменил, ботан!»

Следующей – вброд, не глядя себе под ноги, подгрестила через лужу Лиза из девятого, вляпавшись черным дерматинным сапожком-гармошкой в мороженое; про Лизу не было известно ровно ничего, и внешняя сигнальная система ее сводилась к распущенным, лорелей-

сто-аманделиристым, высветленным, с вертикальной химией власам до крестца (в школе то и дело паскудистыми окриками учителя заставляли красу собирать в пучок или косу); и к очень зажатым движениям; и к напряженному молчанию.

И когда, сразу после нее, но с другой, восточной, стороны, ко входу к метро подошел Склеп, и Лиза, не говоря ни слова, вскинула лютиковые ресницы, стало очевидно, что к ее характеристике можно весомо прибавить еще и то, что влюблена она в Склепа по уши.

Лада, кокетливо косясь на Склепа, с притворной немощью и жалобным полустоном всем своим шуплым тельцем налегла на, впрочем, и вправду тугую огромную, сталинскую, дверь, ведущую в метро, с тяжелыми стеклами и дубовыми горизонтальными перемычками. А вот – Лада неприлично округлила глаза, видя, как Мистер Склеп, дождавшись, пока она отожмет дверь, невозмутимо прошествовал мимо нее в отверзшееся пространство. А вот – Лада, оторопев от изъяна джентльменства, тут же с нагльским, сварливым заигрыванием, срываясь в конце фразы на писклю, задает Склепу вдогонку вопрос: «А ждут ли нас, вообще, в тех гостях, куда вы нас ведете-то, а? Вы нас куда, вообще, ведете-то?» Сценка была поставлена на паузу и с наслаждением пересмотрена еще с десятков раз, по кадрам – в обратном направлении – и форвард – как медленным кинетоскопом. Дверь проворачивает миксером массы. Лада снова и снова на нее нападает – и снова и снова отпадает в осадок – глядя на абсолютно к любым способам кокетства слепого Склепа: тот же, целенаправленно, вперив глаза куда-то вперед и вверх, мощно мчится, рассекая толпу – своей гигантской тощей фигурой, длинными своими воронными локонами, как боевым штандартом, указывая дорогу и не оставляя ни одного шанса потерять его из виду в окружающем душном животном месиве.

Разряжая темноту своей комнаты объемными, проявлявшимися без всяких усилий с ее стороны, прозрачно бесплотными, но абсолютно реальными, тактильно доступными дневными картинками – пестрыми, движущимися, местами строящими глазки, местами небритыми и гундосыми, местами нервно подгибающими и поддерживающими рукава синей мужской школьной формы под противно шваркающую болоньевую куртку цвета мокрой пыли, а где-то – наоборот – даже кисловатыми духами пахнущими (так, что когда Елена на миг выходила из зрительского забытья, вдруг обнаруживалось, что Лада, например, витала в тот момент не в опасных, чавкающих массах, створках дверей метро, а где-то приблизительно в четверти пути между левым, лунно отблескивающим из-за щели в шторах, и правым – совсем уже лишенным подсветки – черным, как голые ветки липы, – бронзовым канделябром маленького старинного дамского махагонового пианино Duysen с чуть треснувшей декой – стоявшего у дальней стены в комнате Елены), проглядев, прощупав, жадно вкусив опять каждую молекулу картинке, перед ее глазами в воздухе заново разыгрывавшейся (причем, так, будто вся съемка этой сцены у метро велась не совсем ее глазами, а откуда-то сверху – примерно оттуда, куда направлялся взгляд Склепа – так, что себя саму она легко могла увидеть как будто тоже чуть со стороны, но, одновременно всегда в любую секунду могла опять с наслаждением войти в свое тело – в той, живой, живущей картинке – главное было сгруппироваться, когда это делаешь, чтоб не расплющили в вестибюле метро сограждане) – чуть поосторожнее присмотревшись к себе со стороны (на что ни времени, ни желания не было в момент дневного участия в действии – уж слишком действие захватывало дух – и все силы уходило на впитывание мелодичного узора из красок, звуков и собственных разбудораженных чувств), Елена вдруг подумала, что и она ведь, пожалуй, как и Лиза, да-да, и как Лада – если уж вот смотреть отсюда, здраво, с легкого отдаления – выглядела явно слегка, ну слегка, ну слегонца в Склепа втюрившейся. Хотя в действительности, вдевшись опять в себя, дневную, примерив опять себя ту-секундошнюю, и произведя соответствующие замеры эмоций, она обнаружила, что единственное, ликующее всепоглощающее чувство, которое в ту минуту Склепом в ней зажигалось, в словах выражалось коротко: с этим загадочным проводником она, конечно же, не спрашивая, пойдет куда угодно, в любые званые или незваные гости.

Склеп, с непреступно торжественной выправкой, не останавливаясь и не размениваясь на мелочи (такие, как, например, заплатить за проезд в метро), молниеносно прошествовал в зазор между турникетами, и с досадливым недоумением обернулся уже только тогда, когда турникет кляцнул черной челюстью – позади него; рывком засунул правую руку в карман кожаного сюртука – черпнул там, выудил оттуда сверкающий, как будто только что отчеканенный, пятак, повертел его с секунду перед глазами (казалось, тоже с некоторым изумлением – как будто впервые в жизни видел деньги) – не сходя с места, гигантским журавлиным жестом перегнулся обратно через турникет – засунул никому уже не нужный пятак в металлическую лузу. Внутренне произнес: «Именно!» И с тем же торжественным выражением лица зашагал дальше.

И опять – уже на платформе – какой-то дорогой, роскошный механизм внутри Склепа на секунду заело: с невозмутимо-удивленным видом пронаблюдав за разверзшимися дверями поезда, Склеп замер – как будто вспоминал какие-то давно позабытые навыки – недоверчиво смерил взглядом высоту дверей – а потом ринулся и смело вдел каланчу башки в вагон. Покачался между двумя невольно расступившимися, едва до пояса ему достававшими сторбленными бабками и как костыль оказавшимся у него под мышкой до ужаса грязным, как будто его целый день в глине валяли, стройбатовцем – и, через несколько секунд, счел за лучшее, аккуратно себя сложив втрое, усадить себя на единственное свободное место.

Идиотски вышколенный болванчик Хомяков, застывший у дверей и, чуть наклоня голову, пропускающий девочек (родительская дрессура) вперед, в потную толкучку вагона, а затем грубо уминающий себя сам; Лада, игриво повисшая на одном локотке на верхней держалке над Склепом и с вызовом, на ноте ля, сетующая, что ее ща совсем тут раздавят; Лиза, мельком слюнящая палец и, покраснев, прижимающая на колене зацепку прозрачных капроновых колготок (жертва атаки жирной дамы со шваброй справа) – все эти мелочи бокового зрения, урывками сохранившиеся, и только сейчас, ночью, по большому-то счету, рассмотренные, замеченные, принятые во внимание – и тут же опять из этого внимания выброшенные – как шелуха, отходы зрительного производства, – меркли перед загадочной сосредоточенностью Склепа: сидел он прямо, смотрел куда-то скорее внутрь, небрежно придерживал снятую с плеча черную школярскую сумку на молнии, и был абсолютно равнодушен к активнейшим взаимным физкультурным и психоневропатическим упражнениям двух с лишком сотен сограждан, закатанных вместе с ним в одну и ту же передвижную консервную банку.

В изнеможении от волшебства этого только что кончившегося, вот-вот, еще теплого, недопитого дня, не желая терять ни кусочка из заново рассматриваемых в темноте картинок, и одновременно осознав, что личный кинематограф уже сожрал все-таки кучу энергии, и что на голодный желудок ей этот поезд до нужной станции метро не довезти, Елена выскочила из-под одеяла и побрела, пошла, припустила, опретью бросилась на кухню.

В дверцу низкорослого, пузатого холодильника беспризорной породы, как она еще с вечера заметила, мать зарядила две банки дефицитного зеленого горошка из пред-первомайского «заказа» с работы – и самым раздражающим в этом «заказе» было то, что никто ничего не выбирал и не заказывал – а опять всучили шайбу отрыжечных шпрот, и еще мерзкий, из каких-то измельченных отходов сделанный, грузинский чай, и шматок соленого масла, и завернутые в грубую бумагу малоинтересные, но сильно пахнущие рыбы останки зеленоватого цвета, под названием «тушки минтая» (во дворе остроловы, не дочитывая последней гласной, смачно называли их не иначе как «тушки мента») – однако мать, зная страсть Елены к пожаранию горошка, «заказ» все-таки купила, надеясь приберечь деликатес до дня рождения Елены – до конца мая; но воспоминание об этих двух гороховых баночках, мельком увиденных, теперь, конечно же, все равно не дало бы спать.

Жадно вспоров банку, вышвырнув горох на сковородку и торопливо залив его гороховым же соком из жестяных недр, она включила газ на полную мощность и, ожидая кипения, вновь уплыла взглядом туда, где Мистер Склеп, после неожиданно удачно проведенной пересадки,

довез их до Площади Ногина, и, услышав откуда-то с потолка нечеловечьим электрическим голосом проквашанное название станции, припечатал его:

– Именно! – и той же легкой уверенной поступью, не оборачиваясь на спутников (они и без того шли за ним клином вопреки давке), вывел их, наконец, из подземелья.

И если бы Елена доверяла прогнозам погоды, если бы не знала по многолетнему опыту наверняка, что все будет ровно вопреки предсказанному по телевизору, – она бы, пожалуй, подумала, что, вынырнув из метро, они ошиблись городом.

Солнце больше не ютилось по проталинам между облаками, а властвовало безраздельно, и пыльно-абрикосовый оттенок воздушной взвеси на улице, по которой они, едва поспевая за могуче движущейся вперед над толпой колокольной Склепа, бежали в горку, был такой хорошо настоящей весенней крепости, каковая достигнута ни за час, ни за два быть не может – и возбуждал серьезное подозрение, что здесь какие-то свои «заказы» погоды.

И слепые окна парикмахерской справа, со слоем грязи в палец поверх старомодных смазливых голов, убого сфотографированных, как на паспорт, и чей-то осиротевший костыль, валявшийся у обочины слева, и, чуть дальше – чья-то поломанная бордовая пластмассовая гребенка для волос на разбитом асфальте – ранили и теребили душу тем больше, чем очевидней была ликующая истома весеннего дня.

Резко, даже не пробежав, а перемахнув в два шага через дорогу, Склеп свернул налево, на Архипова. И тут уже блаженство весны перехлестнуло через край – эта новая улица (по которой Елена никогда еще прежде в жизни не хаживала) оказалась сухой и абсолютно пустой – ни души кроме них: звуки были доброкачественно шершавыми, с гастрономически приятной звонкой зернистостью асфальта, и почему-то соседство с теннисными кортами, чудесным, гористым амфитеатром рельефа нависающими по правому боку накренившейся улочки (хотя никто на этих кортах сейчас и не играл, да и теннисистов-то она живых видела только по телевизору – симпотного веснушчатого Бориса Беккера), шершавость эту, как и блаженно чувствительную тёркость подошв, своими не существующими, но возможными, обещаемыми звуками мяча, ракетки и сухого суетливого шарканья, еще более осязательно дополняло и как бы весомо утверждало.

Склеп внушительно остановился напротив большого здания с колоннами и классицистической крышей, смахивавшего на типовой дом культуры; и, сколь отрывисто, столь и загадочно произнес:

– Путешествие духа. Именно. Колыбель. Именно. Интересно, где начиналось. Надо знать.

И шагнул уже было вверх по ступенькам ко входу. Но тут вдруг в волшебном механизме что-то опять на секунду заело, Склеп заступорился, оглянулся, оглядел всех спутников, как будто уловив какое-то несоответствие; судорожно сунул обе руки в карманы куртки и, с точно таким же, слегка удивленным выражением лица, как давеча, в метро, с пятаком («что это у меня тут в кармане? впервые вижу!») извлек за уголок огромный, белый, носовой платок (свежевыглаженный и нетронутый), тут же развернул и натянул перед собой как полотнище – изобретая, как бы замеченное им несоответствие устранить.

– Нужно прикрыть голову. В знак почтения к обычаям.

– Это ж синагога! Правильно? – Лада дурачки тоненько захихикала, обнажая розовые десны. – Нас же туда не пустят! Мы же не евреи!

Склеп, ничего не отвечая, взглядом пересчитал всех по головам. И не успел никто из них и ахнуть, как он с оглушительным треском разорвал носовой платок – сначала пополам, а потом еще и каждую половинку на четвертушки. И первой из них решительно прикрыл собственный затылок.

– У меня свой есть! Не надо мне вашего, – возмутился Хомяков, когда Склеп уже уложил девочкам хлопчатые кусочки на головы, и, повернувшись было к Хомякову, обнаружил нехватку материала.

Однако, поколебавшись с секунду, Склеп снял с головы и разодрал еще и свой, последний оставшийся кусок, и отжертвовал Хомякову прямоугольную половинку.

Лиза, ровно ничего не понимая из происходящего, отчаянно строила Склепу глазки и покорно придерживала феню на голове двумя руками, растянув со стороны правого и левого уха за уголки и нахлобучив на кумпол ромбиком, как диковинную шляпку.

Лада едва успела шепнуть Елене, что «что-то, кажется, не так», да и сама Елена, смутно припоминая какие-то слышанные подробности, была не вполне уверена насчет чужих традиций – тем не менее, когда Склеп прикрыл ее маковку четвертушкой платка, доверчиво это приняла, и с головы не сняла.

Стайка испуганных светловолосых курносых мальчиков, совсем не похожих (по представлению Елены) на евреев, а похожих на обычных оболтусов-старшекласников, уже высypала из центрального входа здания и собралась под портиком – и с благоговейным ужасом следила за представлением – явно пытаясь угадать, стоит ли от визитеров ожидать угрозы.

На третьей минуте закипела уже не только подливка (уж давно вспенившаяся по краям), но и сами горошины стали, точно как на каком-нибудь диковинном эксперименте с горелкой на уроке химии, живо взлетать и подпрыгивать в жидкости, крутиться и наглядно, пластично демонстрировать кипение.

Не кипящая сердцевина сковороды вытянулась вдруг ромбиком, обрамленным по краям пеной – ромбиком, растянутым крест-накрест ровно посередине – точно как самодельная шляпка Лизы на кумполе.

И, входя в синагогу вслед за Склепом, Елена услышала истерический, захлебывающийся, скороговорочный хохот-шепот Лады:

– Склеп что-то перепутал! Женщинам, же, кажется, не надо...

Но Елена уже не дослушала – и, стараясь изо всех сил выглядеть как можно естественней, улыбалась направо и налево обступившим их, не без опаски, хоббитам из синагоги – чтобы те не чувствовали себя диковинными музейными экспонатами, на которые пришли позерить, и над которыми поржать.

На маковке каждого из них действительно красовалась забавная, как у желудя, штучка – вовсе не квадратненькая, как куски Склепова платка у них у самих на головах, а кругленькая.

Ровно в такую, желудевую, фигуру вытянулась сердцевина гороховой сковороды на пятой минуте кипения.

Никому и ни за что Елена не позволила бы жарить для себя горох. Церемония была священна, и весь смысл ее был не только в жестком соблюдении технологии, но и в том, чтобы непрерывно осуществлять замеры, снимать с гороха пробу: горох первой минуты, горох пятой минуты – и так далее. Редко, когда после этих, чисто научных замеров, готового, пожаренного, гороха потом хватало хотя бы на четверть блюдечка. Впрочем, термин «готовый» приобретал в этой процедуре вполне расплывчатое, крайне гибкое, инвариантное значение: потому как, на ее вкус, вполне готовым и по-своему прекрасным был и горошек первой минуты, и горох минуты третьей – да даже и изначальный, сырой, горошек, который можно было есть вилкой прямо из банки, был по-своему великолепен. Но все-таки этому соблазну – выжрать пошло весь горох вот прямо вот из жестянки, не готовя, она никогда не поддавалась – и четко знала, к чему ведет весь процесс.

А сейчас, увлекшись вновь картинкой приятного оживления в коридорчике, в который они попали – и из которого вели двери в заманчивейшие таинственные полутемные просторные полости синагоги, она и вовсе не попробовала ни горошины.

Больше всего ее потрясло объяснение русоволосого круглолицего юноши, что мужчинам и женщинам не положено молиться в одном и том же зале.

А сообщение о том, что во время молитв женщин ссылают куда-то на второй этаж – так и вовсе заставило неприлично громко хмыкнуть Хомякова.

«Ну вот, сейчас-то нас и разоблачат, с нашими экстравагантными головными уборами!» – с ужасом приготовилась Елена.

Однако никто из пяти молодых ребят, все время крутившихся вокруг них, ни слова про их внешний вид не сказал, – хотя к хлопковым, белоснежным, носовым макушкам гостей опасливые взгляды их перекатывались, посекудно, неудержимо, как ваньки-встаньки.

Потрясло Елену также и то, что как только тот юноша, который сообщил им о сегрегации еврейской популяции на женщин и мужчин, ушел куда-то в подсобное помещение, друг его, худенький невысокий блондинистый молодой человек с чуть оттопыренным левым ухом, быстро предложил девочкам, если они хотят, пройтись в главный молитвенный зал, всё посмотреть:

– Пока нет никого – можно!

После пятой минуты, когда соус уже просто на глазах выкипал, по правилам, нужно было срочно добавить подсолнечного масла из прозрачного пластикового пингвина с отстриженным дулькой-клювом – а она этот важный момент, замечтавшись, пропустила, и сковорода по кромке успела уже слегка подгореть, приобретя неприятный, камышового цвета, налет. Елена резко сдавила опрокинутую пластиковую бутылочку и с жару бултыхнула в раскаленную сковороду озеро масла. Горох начал стрелять.

И закрученные узористым ухом края деревянных скамеек с шестиконечной звездой, и какие-то большие книги, ковровая скатерть, золоченые кисточки, круглые колонны, полутьма, сладковато-прогорклый запах старины – все это проходило всполохами уже на фоне борьбы с пригорающим гороховым жарким.

Из синагоги вывалили уже полуживыми от неловкости. И один только Склеп был невозмутим:

– Именно. Мы с вами – журналисты. Ознакомительная прогулка. Нас ждут дальше. Пойдемте скорее! Вперед!

Выйдя с улицы Архипова на хрюкающий автомобилями Солянский проезд, Елена уже поверить не могла, что это – вот та же улица, ведущая к метро, по которой они сюда поднялись всего полчаса назад – казалось, мир вдруг весь перевернулся; и взглянув на резко свернувшего налево и зашагавшего в гору Склепа, на его жюстокор вразлет, на его длиннющие черные волосы, – несмотря на все его чудачества – а вернее, именно благодаря им, немислимым ни для одного занюханного учителя в их школе – она еще острее почувствовала дрожь свершающегося чуда.

Каланча Склепа маячила впереди, на фоне белой квадратной колокольни на верхушке горы, и казалось, что вводит он их и вовсе уже в совершенно новый, незнакомый, город. Забравшись на самую горку, Мистер Склеп свернул направо в переулочек, шел быстро, но, оказываясь на новых развилках, на секунду замирал, и, как будто по какому-то внутреннему компасу, будто былинный герой, делал выбор между рукавами переулков.

И только после того, как совсем закружив голову поворотами, прошагав по незнакомой улице еще с пару сотен метров, Склеп застыл перед входом в двухэтажное, старое желтоватое здание, которое вполне могло оказаться каким-нибудь бюрократическим учреждением (у входа прибита была официального вида табличка, прочитать которую, однако, никто из них не успел), Хомяков сначала, а потом и все, по цепочке, вспомнили, что Склеповы нахлобучки-то так и покоятся у них на головах – тут же их сдернули и, почему-то, рассували в собственные карманы, вместо того, чтобы вернуть Склепу (не говоря уж – предложить ему опять кусманы сшить). Склеп, последним, с достоинством, снял то, что осталось от его носового платка.

– Здесь тоже поклоняются Богу. Но по-другому. Именно. Вы должны видеть всё. У вас должен быть свободный. Именно. Выбор! – внушительно отчеканил Склеп и вошел внутрь.

В большом светлом зале, распахнутом вверх балконными надстройками второго этажа, пахло свежей краской (гипс, фанера и дерево, старательно раскрашенные маслом под мрамор) и капустными щами. Свет лился через огромные окна с яруса.

В самом центральном, дальнем, сизоватом витражном окне большими буквами было вырисовано удивительно простое уравнение: словесная формула Бога.

Зал был битком. Внизу, на деревянных банкетках не видно было даже и свободных мест. Спины стояли, сидели, бурно разговаривали между собой и, казалось, ждали начала какого-то выступления. На вошедших, протискивающих, оглядывались и почему-то приветливо кивали каждому, как доброму знакомому.

– Поднимемся наверх. Чтоб не мешать, – Склеп уже пробирался к правой скругленной лестнице, ведущей на балкон.

Зал внизу тем временем замер в выжидательной тишине.

С грохотом раздвинув деревянные стулья, расположившись на первом ряду верхнего яруса, у самой балконной перекладки (так, чтобы всем им было прекрасно видно темную высокую трибунку первого этажа), Склеп положил себе на колени сумку:

– Именно. Один ученик мне одолжил магнитофон на сегодня. Не забывайте: мы журналисты... – и звизднул отдергиваемой молнией сумки так, что звук разнесся на весь затихший зал.

Склеп и вправду невозмутимо извлек из сумки громоздкий прямоугольный черный рундук – магнитофон «Электроника».

– Кто-нибудь знает, как с этим обращаться? – спросил он грозно, впрочем, чисто риторически, потому что, когда все замешкались с ответом, а внизу, тем временем, началось молитвенное собрание баптистов, Склеп, не долго думая, вдавил своим длинным указательным пальцем первую под него попавшуюся, красную кнопку, и стал записывать распеваемые всеми внизу гимны.

Украдкой взглянув на бледноватое лицо Склепа, чуть скрытое сейчас ниспадавшими на него сбоку двумя широкими локонами, на вольготные крылья его точеного, вытянутого, словно на какой средневековой картине, носа, на его чуть подрагивавшие напряженные тонкие губы, на этот просторный лоб, Елена вдруг поняла, что за все время пребывания его в школе ни разу не увидела на безусловно чем-то бесконечно привлекательном – потому что загадочном – лице этом улыбки: не было лицо его ни угрюмым, ни скорбным, ни печальным – а, скорее, всегда осознанно-целеустремленно сосредоточенным на какой-то ему одному ведомой задаче, ради которой он как будто отметал, стирал из поля зрения всё побочное.

Елена сделала огонь чуть потише.

Пели удивительно слаженно – звучно подтягивал каждый пассажир первого этажа – а зади, на их, верхнем, уровне явочным аккордом обнаружился вдруг орган и хор.

Ритмы были веселенькие. Рифмы примитивненькие. Говорили в промежутках между песенками: на трибуне сначала выступил солидный мужчина в костюме и при галстукке, с длинной грушевидной лысиной посередине, потом – тоже лысый, но с лысиной покруглее, сдвинутой на затылок, как еврейская шапочка, – при парадном костюме тоже; потом высказался мужчина помоложе, с волосами. Говорили громко и разборчиво, в темпе и настырно. Но ни слова, почему-то (то ли от волнения, то ли от того, что Склеп, и его манипуляции с магнитофоном занимали все имеющиеся мощности внимания) понять и ухватить было невозможно – ни одно единственное словцо до сознания не доходило. Рассуждали собравшиеся о чем-то явно очевидном для них для всех – и именно из-за этой очевидной для них очевидности уцепить это подразумевающееся очевидное было никак нельзя, никоим образом.

Кратчайшая формула на витраже, куда Елена посматривала, как только Склеп на секунду замедлил и переставал священнодействовать с «Электроникой», понравилась ей, впрочем, чрезвычайно, была принята и внутренне распробована на все лады и интонации.

Склеп прекрасно освоил уже кнопки «запись» и «стоп». Неплохо справлялся он уже и с перемоткой в обратную сторону, когда, опаздывая с записью к началу очередной песни, или, наоборот, нажимая «стоп» слишком рано, желал ее затереть следующей, и откручивал назад пленку.

Присидевшийся, пообвыкшийся и слегка обнаглевший Хомяков начал хмыкать и хихикать, тихенько передразнивая, фальшиво, как гудошник, простецкий припевчик очередного гимна.

Тут-то и началось безобразие: Склеп заступорил запись и принялся откручивать назад забракованную песню, а, перекрутив, собирался уже включить запись начисто. Но – промахнулся пальцем, замешкался – пение тем временем кончилось, собрание на несколько секунд притихло – и тут Склеп вместо записи въезлозил перст на воспроизведение звука. Магнитофон врубился на полную громкость. Звуки ретранслировались на всю баптистскую ширь и высь, со всеми помехами и техническими прелестями советской электроники, да еще и с фальшивым припевчиком Хомякова, перебиваемым ненароком записавшимся тихим неразборчивым междусобойчиком Лады и Елены.

Склеп, в панике, тыкал пальцами уже во все кнопки подряд, метался по клавишам уже обеими руками, раздризганные манжеты его летали в воздухе – так что на секунду создалось впечатление, что это он на взбесившейся гармонике играет музыку – и в конце концов с жалобной миной отстранил, чуть не отбросил от себя магнитофон – как какой-то одушевленный враждебный взбунтовавшийся субъект. Общими усилиями ящик уняли.

Зазевавшись опять немножко (давно уже надо было бы переворачивать горошек на сковороде вилкой), Елена, затаив дыхание, заново прокручивала и позорное бегство с балкона (от стыда решили не дожидаться конца собрания – чтобы не смотреть в глаза оскорбленным баптистам), и прогулку до метро (Склеп, взвалив сумку на плечо и не глядя, куда идет, все силился выдрессировать магнитофон и извлечь членораздельные звуки, но звучал как шарлатан-шарманщик); и свою собственную неожиданную, невесть откуда вдруг нахлынувшую, изобретательность (домой ехать со всеми вместе отказалась, сказав, что ей срочно нужно в туалет, пописать); и этот завораживающий, картавящий, жирафа какого-то зовущий подвал, куда ну вот чесслово зашла вовсе не пописать, а так, просто забралась из какой-то шалости; и явление мальчика в темноте со спичкой – и то, как неслась обратно опрометью с горки вниз к метро – от испуга и от восторга вдруг объявшей ее свободы.

Горошек двенадцатой минуты, сколь соблазнительным бы он ни казался (скукожившийся чуть-чуть, уже не такой глупо-круглый, впитавший уже весь соус и чуть-чуть обжарившийся в масле), был столь же и опасен. Опасность первая была проста – сожрать все немедленно же, не дожидаясь больше уже ничего. Потому как двенадцатиминутный горох, вот положи руку на сердце, был уже очень хорош. И аромат – кричащ. А голод разыгрывался к этой минуте настолько, что нужно уже было быть просто титаном воли, чтобы удержаться. Хотя бы три горошины попробовал – и всё – кранты. Не будет уже горошка ни пятнадцатой минуты, ни... Опасность вторая состояла в том, что начиная с этой минуты в горошек уже просто безостановочно надо было подливать микроскопическими дозами масло и перемешивать все тектонические слои на сковороде. Жаркбе следовало в нескольких местах слегка раздавить вилкой – и примешать размягченное пюре как приправу к горошку целому. И переворачивать уже вот просто непрерывно – по мере появления приятной корочки на горошинках.

И если соблюсти все технологические требования, то уже через несколько минут горошек был готов – то есть, по вкусу начинал напоминать жареные грибы. Грибов всегда почему-то с голодухи хотелось больше всего. И уже на девятнадцатой минуте, вспоминая, как после ее воссоединения со Склеповой экспедицией у метро, нагнавшие их молоденькие ребята-баптисты улыбались им как чайные блюдца, и хвастались, как же им повезло в жизни, и звали приходить еще, и... и Елена вдруг почему-то явственно отчетливо почувствовала запах подгорев-

шей керосинки, на которой покойная бабушка Глафира, дошкольную вечность назад, жарила ей на даче белые грибы с подосиновиками и лисичками. А уже на двадцать первой минуте... На двадцать первой минуте в кухню ворвалась мать: сначала отжав скверно закрывавшуюся дверь полненькой ручкой со смешным розовым фонариком на плече ночной рубашки, а затем прямой наводкой скакнув к окну.

– Фу, Ленка! Сожгла опять в угольки?! Дым же коромыслом!

Узкая створка окна напустила в кухню холодной ночи. Дым живописно закружился, не желая никуда вытекать. И Елена, очнувшись, поймала себя на том, что все последние минуты, вместо того, чтобы перемешивать, как следует, сковороду, в рассеянности, безуспешно, вилок, пыталась выхлебать из криво вскрытой жестянки уцелевший там на доньшке сладко-соленый гороховый рассол.

Мать, пожалуй, даже еще в большей степени, чем она, была подвержена всю жизнь приступам эйдетической памяти.

«Ну и вот: вхожу я к ним в комнату – а там Славка Осокин! Синие глаза, темные кудри! Красавчик! Мне было двенадцать, а ему шестнадцать! Ну и я конечно сразу влюбилась без памяти! А по радио еще, как сейчас помню, в ту самую секунду, как я вошла, громко так, играют глупую песенку какую-то: «Я схожу с холма, я схожу с ума, может это не березка, а ты сама!» Ну вот, и представляешь: вон там стол, Славка возле стола стоит, вот здесь дверь, а здесь печка, жарко натоплено, радио во всю мочь – и я распахиваю дверь, и влюбляюсь с первого взгляда! – повествовала Анастасия Савельевна; и глазами, руками, и всей своей богатой актерской жестикуляцией и мимикой, показывая, разыгрывая, не оставляя Елене шансов воочию не увидеть, где именно и с каким выражением лица стоял сердцеед, а где была она, и где дверь, и даже где именно была печка, – и становилась при этом сказительница, поочередно, на доли секунды, то Славкой, то самой собой о двенадцати лет, а то – печкой.

«Ну вот: и представляешь, – повествовала мать в другой раз, – во время войны, когда мы были в эвакуации, в Вурнарах, мама моя, в смысле твоя бабушка Глафира, работала железнодорожной стрелочницей. Мне было годика четыре тогда... Да нет, еще и четырех не было. Мы жили в бане, у милиционера по имени Иванов: когда началась эвакуация из Москвы, его заставили поделиться жильем с беженцами. И вот, я помню: темно, ночь, мама моя ушла на ночную смену. А я просыпаюсь – мне страшно становится. И я отодвигаю... такое маленькое деревянное раздвижное оконце там было (и Анастасия Савельевна рукой показывала габариты оконца, почти как форточки, и тяжело двигала его рукой слева направо), и вылезая наружу, во двор, через это оконце – я же крошечная была! И бегу опростелью сквозь заросли – дорожку-то я знала! – до железнодорожной будки! И маме моей, бедненькой, ничего не оставалось, как меня укладывать прямо там, на пол, в этой крошечной будке – тряпок на пол постелет, и меня укладывает. А сама наружу скорей-скорей бежит, флажками махать. Как сейчас помню: я выгляну из двери, а мама в телогрейке рваненькой, но красивая такая, на прямой пробор, со своей косой вокруг головы, как тогда носили, – сигнализирует своими флажками – и паровоз идет! Ух! Как я боялась! Как сейчас помню! А паровоз – знаешь, как он выглядит! Ух! Колеса такие огромные, и к колесам идут с двух сторон такие металлические тяги! И вот, подходит паровоз: пых-пых-пых, и гудеть начинает, и во все стороны идет пар! Как же я боялась жутко!»

«А потом Юрка, старший брат, гулять, шляться куда-то ушел, и заслонку топящейся печки слишком рано задвинул. Ушел – а я угорела. И Вовка, который меня всего-то на три годика старше был, зубами меня за рубашонку на улицу, на снег вытащил, спас. Он-то сам тоже угорел, но еще в состоянии двигаться был – а сил меня тащить не было – и вот он зубами, из последних силенок. И когда он меня на снег вытащил, я видела небо. Как сейчас помню – лежу на снегу – и вижу: надо мной звездное небо!»

«А потом маму весной в госпиталь увезли – у нее ноги страшно распухли от голода: еды-то не было ну вот буквально никакой – суп из крапивы варили, да жмых жевали, который скоту

давали. А тут мама с голодухи поела зеленого луку с огорода – и у нее началась страшная опухоль ног, умирала прямо. Ноги как чурбаны стали. И вот, я помню, как мы с Вовкой, маленькие, бежим за машиной, которая ее в больницу увозит, и плачем!»

«А потом, когда мама уже выздоровела, Вовка с голодухи украл у милиционера с огорода репку. И мама, на полном серьезе, завязала ему узелок с вещами, вывела его из дому, и начала прогонять его – сказала: «Уходи на все четыре стороны. Сын вор мне не нужен». А Вовка – русоголовый такой, немного кудрявый, ангелочек такой, стоит ревмя ревет, клянется, что больше никогда ничего чужого не возьмет. И я реву, прошу: “Мам, ну не прогоняй его!”»

«А потом, уже после госпиталя, маму из жалости к трем детям перевели работать в офицерскую столовую – картошку чистить – и разрешали очистки детям домой уносить. И какое же это, Ленка, было лакомство для нас! Я помню этот чугунок! Вода-то все равно черноватая, грязноватая оставалась. Варили в чугунке очистки от картошки, вылавливали и ели! Наша единственная еда была, в течение как минимум двух лет. Я же ведь до сих пор из-за этого, всю жизнь, всегда мою тщательно картошку перед тем, как ее варить – инстинктивно, по привычке».

«А потом маму все время просили петь солдаты, уходившие на фронт: стояла машина грузовая у станции, и, вот, маму подсаживали на этот грузовик. И, вот, она там вставала, красавица такая, на прямой пробор, коса вокруг головы уложена, голос прекрасный, низкий, меццо-сопрано. И пела на морозе! Ух, как она пела! Ямщика – степь да степь кругом. А рядом – вагоны, вагоны. Отправляли эшелоны на фронт».

«А потом маме удалось посадить и вырастить огурцы. И, вот, она посылала Вовку на железнодорожную станцию, к эшелонам с солдатами, продавать эти огурцы или выменивать на любую еду для нас, для детей. А Вовке вместо денег солдаты дали куклу – сверху разорванная купюра, а внутри и вообще бумажки вместо денег. Он же маленький, не понимал ничего. Трагедия была».

То ли из-за войны, то ли просто из-за штучной ручной выделки души, Анастасия Савельевна помнила себя рано, чуть ли не с младенчества.

И уж если рассказывала ей, Елене, как в мае 1945-го старший брат матери, Юрий, убежавший на фронт шестнадцатилетним, приехал забирать ее, пятилетнюю, и восьмилетнего брата Владимира, и бабушку Глафиру из эвакуации в Вурнарах, – то уж видела Елена яснее ясного всё: и как «пыхал» паровоз-товарняк, и как они все жались к вагону («Никакой платформы не было – просто утоптанная полоса на краю насыпи, а внизу канавка. Как сейчас помню: трава зеленая между железнодорожными путями уже – весна! А товарняк высокий такой – дверь такая огромная раздвигается, в полстены, и чтоб залезть туда, с земли, обязательно нужно, чтоб кто-то подсаживал!»), и как старший брат стал договариваться с проводницей; и как она их отказалась взять; и как Юрий, огрубевший на войне, в ярости, заорал на нее во всю хрипатую глотку: «Сука медеянская!» «Представляешь, – конфузясь, поясняла Анастасия Савельевна эту красочную подробность, – я ведь всю жизнь потом, до самого недавнего времени, была убеждена, что «сука медеянская» – это такое страшное матерное ругательство. Считала, что страшнее этого ругательства вообще нет! А тут, в программе «В мире животных» я совсем недавно увидела, что это просто порода собак такая! Ничего неприличного, оказывается, в этом нет! Просто – сука медеянской породы!»

«А потом мы в Унгены, в Молдавию, на несколько месяцев приехали – брат Юрий там доканчивал служить. И в Молдавии цвели абрикосы! Везде! Как же это было прекрасно! Унгены были на границе с Румынией – и за рекой Прут, на том берегу, были румыны – их было видно: в белых штанах и в белых вышитых рубахах. Мама ходила доить коров, а у коров правый бок соединялся с левым – такие худые они были. И вот эти страшно худые, страшно голодные коровы вытягивали шеи и обдирали старую гнилую солому с навеса, под которым

они стояли. Но везде цвели абрикосы! А когда поспели абрикосы, мама из них варила, прямо в саду, варенье – на сложенной из камней печке – какой запах стоял!»

«А один раз я выбежала ночью в Унгенах из барака посикать, а потом в потемках не в ту дверь назад забежала – я помню: дверь наша была красная со стеклом – ну, и я смотрю: красная дверь, со стеклом, забежала – а оказалось не туда! Я смотрю – совсем чужие люди спят. Я как зареву! А мама через стенку из соседней двери услышала, и прибежала меня забрала».

«А еще я с козой Милкой танцевала – я ее научила класть мне передние ноги на плечи и мы с ней танцевали вальс. Все сбегались посмотреть. Это считалось верхом дрессуры».

А уж немецкая овчарка Найда, слепая, но удивительно умная, которая была лучшим другом Анастасии Савельевны (когда та была еще «Настенькой» и училась в первом классе школы) уже в Москве, после возвращения из эвакуации, – а также серая, с хулиганской улыбкой, кошка Мурка, которая каждый день бегом провожала Настеньку из дома до самой школы (а чуть убедившись, что та в безопасности – опроретью скакала обратно домой – уже по заборам) – и вовсе были для Елены с самого детства вместо сказок. «Ма-а, ну расскажи еще про Мурку и про Найду!» – выпрашивала она обычно перед сном, когда была маленькая. «Ну вот, Найду привели в дом. А я была в школе и не знала. И вот, захожу, а она сидит в большой комнате – она была необыкновенная! – я ее сразу обняла! Мы с ней сразу подружились! И тут вбегает моя мама: «Ой, я тебя предупредить не успела, чтоб ты сюда не входила!» – повествовала Анастасия Савельевна, лежа на краешке кровати, и через минуту, уже засыпая, с сомнамбулической точностью, отвечала попутно на все пытливые вопросы о деталях окраса овчарки (каряя красавица с широкой черной полосой вдоль всего хребта и на хвосте), – пока не выключалась от усталости, и уже никакими слезными просьбами, ни хныканьем, ни даже толчками в бок не удавалось переключить этот материн молодецкий храп опять на волшебные рассказы.

Или, в зимний день, возвращаясь с улицы и прикладывая к пунцовым щекам ладони, мать вдруг, до ужаса зябко, вспоминала, как жили после войны в бараке: «Просыпаюсь ночью, а стенка у моей кровати – вот прям вот здесь! – вся изморозью покрыта!»

Или, готовя Елене свое любимое лакомство – ломтик белого хлеба со сливочным маслом, посыпанный сахаром, Анастасия Савельевна вдруг с улыбкой вспоминала: «А я ведь лет до пятнадцати вообще не представляла себе, что такое белый хлеб! А сахар нам после войны по талонам выдавали – по полтора кусочка на человека в день. Как сейчас помню, в Никольском, в первом классе, я стою у стола, а у нас такая сахарница металлическая была – и вот я стою, и пишу на маленьких бумажках: маме, Юрию, Владимиру – и раскладываю по полтора кусочка сахара».

«А однажды нам на первое сентября в школе конфеты-подушечки дали – каждому по две конфетки. Чтоб подкормить нас, наверное, хоть немножко, чтоб мы в голодный обморок на уроках не падали. А конфетки, знаешь, какие – маленькие – как ноготь были. И вот я побежала сразу домой, чтобы подарить эти конфетки маме. Бежала, зажав их в кулачке. Прибежала домой, сразу маме кулачок сую, раскрываю ладошку – а они растаяли!»

Для Анастасии Савельевны, с ее артистизмом и экспрессией, было как-то естественно переплавлять эти свои воспоминания для Елены в былины. Да иногда и не только для Елены. Однажды, на чьих-то (совсем некстати) похоронах, встретив (после тридцати, что ли, с лишним, лет разлуки) свою первую любовь – того самого, легендарного Славку Осокина, Анастасия Савельевна, со своей непосредственностью, тут же ему выпалила: «Славка! Как же я в тебя была влюблена, когда мне было двенадцать лет!» – «А Славка мне говорит: «Я знаю!»» – А я ему говорю: «Какой же ты был тогда красивый! А сейчас ты такой старый и страшный стал!»

«А в нашей крохотной комнате, вот здесь стояла печь, а вот здесь – здоровенный сундук деревянный, весь обитый железными такими реечками, как сеткой. . . Мы сундук этот с мамой, когда был пожар у соседей, с перепугу, одним махом вдвоем на улицу вытащили. А потом, когда пожар потушили – мы с ней даже и поднять-то сундук не могли, не то что нести! Пришлось

пожарным его к нам обратно заносить! Да, вот здесь – сундук, а вот здесь – маленький коридор, а сюда выходишь – здесь стена, утепленная войлоком – а за ней куры, козы», – мысленно путешествовала Анастасия Савельевна по ледяному, насквозь продуваемому барaku, которого уже лет тридцать, как не существовало в материальном мире, да и самого места-то, в котором он произрастал – села Никольское, куда ее семью после войны приютили, не было больше на карте – а превратилось оно в район Москвы, недалеко от Сокола, и заросло престижными высотками. «А обходишь барак – вот с этой стороны – и там – колонка с водой: у нас-то внутри-то барака никакого водопровода не было! И вот меня, маленькую, затемно еще, в пять часов утра, мама просит сбегать воды набрать: только не набирай, говорит, полное ведро – надорвешься! Добегаю до колонки, а чтоб набрать воду, надо было ручку колонки вот так вот вжих-вжих, то в одну сторону, то в другую – и вода начинает шипеть! Вода вырывается кипящая, как кипяток, а на самом деле – ледяная, руку обожжешь морозом, если притронешься. И под колонкой ледяной нарост. И вот я как сейчас вижу свои красные варежки, из грубой шерсти мамой связанные, и мокрые уже валенки на ногах. А больше всего мне нравилось на обратном пути, на морозе, что луна за мной бежит – круглая, огромная, золотая, на черном небе, – я смотрю вверх: я иду – а она за мной бежит! – я дальше иду – и она за мной бежит!»

Собственно, «воспоминаниями» эти Анастасии-Савельевнины картинку назвать было бы грешно: ни в одном из них не было прошедшего времени – все было в настоящем: живым, – Анастасия Савельевна просто-запросто входила в картинку – в тот момент, о котором рассказывала; и без всяких усилий могла не только видеть и слышать, но и, всё так же остро, как и в тот момент, чувствовать температуру, запахи, заново ощущать, ощупывать, разглядывать и чуть не взвешивать заново все предметы, в этой картинке имеющиеся. Еще и рапортуя о результатах исследований по просьбе слушателей.

И в лицах разыгрывать все эти свои путешествия, обращать их в дрожащую в воздухе зримость для внешних слушателей, было для Анастасии Савельевны чем-то вполне естественным, естественной ежедневной средой жизни.

Елена же, будучи в этом полной противоположностью Анастасии Савельевне, все свои дневные диковинки, не менее ярко внутри запечатляемые, держала при себе – инстинктивно боясь, что ли, их яркость расплескать. И поэтому когда Анастасия Савельевна спросила ее на днях, что нового в школе, Елена, давась словами, подбирая их, как кубики, и прекрасно видя уже заранее, что ни один кубик к желаемой конструкции не подходит, с трудом выстроила сообщение, что появился «новый, очень интересный учитель литературы». Формула, которая, конечно же, никак не отражала бури, происходившей у нее сейчас внутри.

– Чего ты опять колобродишь среди ночи? Заснуть не можешь? – Анастасия Савельевна, развернувшись к ней от окна, всё еще сонно шурилась от света и позевывала, и пыталась хоть чуть-чуть разогнать оконной створкой дым. – А ты, вон, свари себе кофейку, хватани чашечку – сразу уснешь!

Никакие силы в мире не могли переубедить Анастасию Савельевну, что кофе – это не снотворное. И что обычно люди пьют его с ровно противоположными целями. «Ну что поделаешь? А я вот такой вот человек!» – добродушно посмеивалась всегда на это Анастасия Савельевна.

– Не говори мне только опять сейчас ничего про жареные грибы, – Анастасия Савельевна стояла уже у двери, и заглядывала в холодильник, проверяя, уцелела ли вторая баночка. – Нечего оправдываться. Просто ты любишь, Ленка, подгорелый горох. Вот и всё.

III

– Ну и чего такого важного ты там дома вчера делала?! А? Веником махала? Или бельё в прачечную относила? – Елена заводилась всё больше.

Анюта только что предложила ей поиграть в точки (особая, азартная игра, с окружениями, аннексиями и контрибуциями) на любовно вырванном из сердца тетради по алгебре клетчатом развороте, пока Хомяков, под громадным иконостасом троицы Ленин-Маркс-Энгельс, доказывал у доску гундосую теорему, то и дело с лизоблюдской улыбочкой влюбленно глядя на алгебраичку Ленор Виссарионовну – распушенную полковничью женушку лет шестидесяти, даму с длинным белокурым шиньоном, хитро подколотым на затылке булавками в романтический, ниспадающий, с чуть завитыми локонами хвост. Фланировала Ленор Виссарионовна по школе преимущественно в небесно-голубых или канареечно-лимонных костюмах (или, вот, в жамканно-фуксиевом, с приталенным жакетом, как сейчас) с юбкой-колоколом по колено, и в туфлях на высоких, чуть кривоногого стоптанных, шпильках. «И в шерстяных черных рейтузах со штрипками», – неизменно язвительно подчеркивала Анюта. Широкополые, мушкетерского формата, шляпы в ядовитый тон очередного костюма – некоторые даже с перьями безвестных ободранных птиц – к счастью, на уроках алгебраичка все-таки снимала и клала в учительский шкаф. При сволочнейшем характере и почтеннейшем возрасте, по иронии природы, являлась она еще и самой заядлой в школе кокеткой, не пытавшейся заигрывать разве что со стулом. Но единственным, многолетним, воздыхателем был только физрук – громадный мужлан, сложения орангутанга, как будто сбежавший из учебника зоологии: с огромной головой, огромными губами, с зарослями бровей и гипертрофированным носом (с зарослями в ноздрях тоже), с руками-ковшами, болтавшимися чуть не ниже колен, с пегой гривой, добрейший, но иногда поколачивавший мальчиков кем-то оброненным кедром по заду и в припадке гнева бегавший за ними по физкультурному залу (а иногда и по всей школе) с палкой, передвигаясь при этом ужасающими, гигантскими мифологическими скачками; заглядывал он к Ленор обычно на перемене – и почему-то страшно смущался. Словом, персонажем Ленор Виссарионовна была вполне трагикомическим, но нервы всем портила ежедневно изрядно. И как анекдот уже давно по всей школе разгуливая ее излюбленная фразочка, ровно на каждом уроке в адрес очередной, произвольно выбранной жертвы («вертелся», «разговаривал», «оправдывался», «спорил с учителем») особым, довольно высоким, но сплюснутым каким-то, лакированно-стервозным голоском выкрикиваемая: «Тээээк! Встал! Пошел вон! Два – в журнале!» И если в этот день Ленор Виссарионовна фразу эту еще не пропиликала, и ни на кого еще не наорала, никого не извела сволочными одергиваниями, никого не оскорбила, то вертелась и поёрзывала она на своем стуле как-то недовольно, считая, что время прошло зря, и явно начинала сомневаться в своих женских чарах. И в такие минуты верноподданническую приторную мину Хомякова ценила рядом с собой особенно высоко.

– Нет, мне просто интересно: что, вот что конкретно, что ты вчера делала, вместо того чтобы пойти вместе со мной, со Склепом?! – шепотом (дотягивая этот шепот до драмы академического театра) допытывалась у Ани Елена.

– Чего тебе нужно? Отвали, подруга. Чего ты ко мне пристала. Говорят тебе: дела были. Я родителям обещала кое в чем помочь, – Аня сделала уже физиономию даже не сковородой, а ведром, и принялась, по-деловому, всеми десятью пальцами сразу со всех сторон, подправлять заколку-автомат, все время некстати отстреливавшую на затылке, еле-еле стягивавшуюся на Аниных тускловатых прямых темных волосах, которых она никогда не распускала.

– Нет, вот ответь мне прямо, по-человечески: неужели ты правда думаешь, что выносить помойку дома или пыль с телевизора смахивать – важнее этого? Знаешь, где мы были вчера, между прочим?

Анюта, закончив манипуляции с волосами, не глядя в ее сторону, чуть отбывчив нижнюю губу, холодно, боком, выслушала звуковые блики, словесные отблески были про Склепов марш-бросок, и мстительно-ледяным голосом то ли осуждающе, то ли издевательски, но демонстративно прилично, резюмировала:

– Замечательно...

Надулась. Потом – аккуратно цопнула ноготками за ушко листочек с парты, поняв, что игры сегодня не будет, и вложила его ровно в то место, откуда минуту назад его выдрала.

На первой же, впрочем, переменке, они уже помирились, и стоя в туалетном клубе, задами оперевшись о подоконник (служивший попеременно то банкеткой, на которую надо было чуть подпрыгивать – а то столиком для завтрака), с хохотом рассказывали друг другу свои сны: Анечке той ночью приснилась Ленор Виссарионовна, прыгающая по всей школе в розовом пеньюаре, в балетном порыве, и с перьями, торчащими в самых неподходящих местах; а Елене снилось, как она жарила зеленый горох.

Некоторые тектонические подрагивания школы чувствоваться начали только уже на большой перемене.

Перед третьим уроком зоологичка (заводчица богатой коллекции заспиртованных скорпионов, тарантулов и сколопендр, дама возраста неопределимого, внешне являвшаяся полной противоположностью алгебраички: низкорослая, сутулая, без талии, с широким тазом, без всяких ужимок, и вообще без всяких женских поведенческих признаков, одевавшаяся с революционной убогостью, мешком, в блеклые выцветшие невзрачные цвета, в стиле Крупской, да и чем-то на саму Крупскую, судя по каноническим фотопортретам, сильно смахивавшая – как будто всю жизнь себя с нее списывала: с небрежным пучком, с одутловатыми, обрюзгшими, базедовыми чертами лица, с распухшими орбитами под недобрыми озабоченными глазами, глядящими с постоянным злым вызовом, вся как-то скукоженная, в три погибели; коротенькие каблучки, – на которых она очень любила во время уроков разминаться с пятки на мысок, прохаживаясь у доски, со здоровенной деревянной дубиной указки с выжженным паяльником змеевидным рисунком, – этой фигуры не только не исправляли, а наоборот, окончательно превращали ее в короткий вопросительный знак) выскочила из кабинета и, быстро, встав на мыски и разыскав в галдящей толпе глазами Елену, напрямик, чуть спотыкающейся походкой, ковыльнула к ней и грубо схватила ее за руку:

– Это правда, что этот... (бледно-коричневые, криво покрашенные губы зоологички дрожали от ярости, и почему-то – то ли из ненависти, то ли из благоговейного ужаса, не могли выговорить Склепова имени)... это что, правда, что *он* водил вас вчера в цер... – тут злобный, слюнями брызгающий, шепот перешел в какое-то невнятное шипение и цоканье.

«Понятно. Уже кто-то донести успел», – молнией пронеслось у Елены. И, чуть отстранив ухо от фонтана слюнявой злобы, она судорожно начала соображать: следует ли открыто продекларировать вчерашний поход – не принесет ли это Склепу дополнительных проблем, – или надо обхамить биологичку сразу и сказать, что, раз та получила донос, чтоб пошла и спросила самого Склепа, в лицо.

Делая вид, что не расслышала, – и беря себе еще несколько секунд на размышление, Елена сделала в толпе резкий шаг в сторону, заодно еще и мягко пытаясь изъять себя из неприятной, чуть потной – но почему-то загробно ледяной – трясущейся от ярости ручки учительницы, сжавшей ее запястье.

– Что вы сказали? Здесь так шумно, что ни слова не разобрать! Вы не могли бы погромче?

Зоологичка, грозно вытаращив глаза, сжав руку Елены еще настырнее, тем не менее, во всеуслышание произнести свои обвинения в окружающей толпе почему-то не пожелала: вместо этого все более и более напирала, бонобовы складки на лице ее морщились и дергались еще яростнее, и шептала зоологичка, все более уходя и вправду в еле различимые ультразвуки:

– Этот... этот... он что, правда ведет среди вас религиозную агитацию?! Он что, правда верит в... – и здесь зоологический шепот ненароком заполз в вечность.

Елена уже без всяких приличий выдернула руку из трясущегося от злобы зоологического капкана и резко отстранилась от нее:

– Я не понимаю, Агрипина Арефьевна: вы что, забыли, что сейчас не тридцать седьмой год, а восемьдесят восьмой? – поинтересовалась она как можно громче.

Зоологичка, ненавидяще на нее глянув, сжалась в кулак, и не говоря больше ни слова, крутанувшись на низеньких квадратных каблуках, убралась восвояси в кабинет. Тем более, что к двери кабинета с глуповатой улыбкой уже пробрался сквозь толпу давний поклонник ее – лысый физик (окромя Агрипины страстно любивший еще одного человека в школе: Хомякова).

– А-а, смотри-т-ка, Бильярдный шар опять подвалил, – цинично прокомментировала Аня вполголоса.

А Елена со скукой вспомнила, как с год, что ли, назад зоологичка, вытянувшись перед классом у доски по стойке смирно, зачем-то, «с позиции физики», принялась обличать «попов, мошенничающих со святой водой»: «Это ж известный фокус! Они кладут в емкость с водой серебряный крест – и обогащают воду ионами серебра! От этого вода приобретает ценные целебные свойства! А попы потом заявляют, что исцеления людей происходят по чуду!» Что такое «святая вода» никто, особо, в классе не знал, да и про попов тоже слышали только от Пушкина. Так что Агрипинову яростную тогдашнюю политинформацию все как-то спустили мимо ушей.

Куда более тревожной была сейчас молевидная тень, призрак, летучий голландец, замелькавший по коридору рядом с тем классом, где вел урок с десятиклассниками Склеп – безобразно худая и вся словно паутиной и пылью подернутая, с тихими впалыми глазами скелета и черными кругами под глазами, седокудрая завучиха по истории, надзиравшая, заодно, и за идеологией, абсолютно молча крутилась в толпе, с серой папкой под мышкой, ко всем присматривалась и прислушивалась, и что-то вынюхивала.

Вкрадчивый тихий стиль этой блеклой валькирии из парткома – никогда ни пол-звука на орущих тонах, никогда ни вопроса прилюдно, да и вообще говорила-то она всегда так, словно у нее сел голос, и теперь она его сэкономила (и если уж беседовала с кем-то, этим неизменным придушенно-глухо-сипато-пыльным тембриком, то старалась всегда придать взгляду своих и без того страшных бесцветных глаз измученное, усталое, умудренное жизнью выражение – так что собеседник невольно начинал себя чувствовать неловко) – уж точно не сулил добра.

До самых майских ни одного урока у Склепа с их классом не предвиделось.

И, приканчивая вторую банку горошка (только чудом избежав нового пожара), Елена всё силилась вообразить, что же за волшебные путешествия скрываются за Склеповым обещанием: «Именно. Нас ждут дальше. Продолжим скоро. Именно».

Весна крепилась-крепилась и вдруг как будто расхохоталась; и от хохота этого в единую ночь были взломаны крошечные ларцы, раскинувшие непрочные крышки и выбросившие наружу сахарно-сливочное приданое: и звонко-белые крылышки цветущей вишни замелькали, легкой фатой зависнув в воздухе, будто воры ночью впопыхах слишком нежную ткань, расшитую кружевными мотыльками, быстро и неаккуратно пронесли тайком над деревьями, и она зацепилась, застряла, да так и осталась всполохами на ветках, – и, когда возобновились уроки, всей душой чувствовалось несоответствие, неуместность нежной вишневой этой красоты в школьном дворе – этом елейном предбаннике ежедневных пыток, слева от свежеевыкрашенных, серых, масляной краской невыносимо воняющих колонн под серым же карнизом с кругломордым гипсовым ленинским барельефом. Входя в пятиэтажное буро-серого кирпича, с кроваво-красным цоколем, здание – орущее и уже жалящее паскудно громким звонком на первый урок, Елена оглянулась на молоденькие вишневые деревца, безвкусно взятые под арест деревянными рейками вокруг, меж канонических, в рост четвертого этажа, толстых школьных берез, медленно разматывающих дежурные свои небогатые украшения – и невольно с выворачивающей солнечное сплетение тоской и омерзением подумала: «А зачем весна-то вообще тогда – если все равно сейчас придется все те же рожи в этом зоопарке видеть? А до Склепова урока еще ждать два дня!»

Впрочем, ждать вестей от Склепа долго не пришлось. На большой перемене, когда Елена и Аня мирно прогуливались под руку по коридору четвертого этажа (поверх болтовни Елена с умилением разглядывала Анютину сменку: патютишные, детские, очень-очень-светло-бежевые сандалики, до безобразия стоптанные со стороны пятки наружу, и буквально разваливающиеся по частям; из детсадовских же этих сандаликов выпирали фарфоровые, худенькие, выглядевшие стеклянно хрупкими – особенно при общей упитанности Анюты – точеные лодыжки), вдруг, пихаясь, разбрасывая всех со своего яростного пути, пробилась к ним сквозь визжащий кордебалет зоологичка, с абсолютно зелеными от злости щеками и лбом, и, ужасно выпучив красно-белковые глаза, заорала:

– Кто?! Кто это сделал?! Кто выломал мой вишневый сад?!

Елена, не успев справиться с эмоциями, расхохоталась – за секунду сообразив, что зоологичка едва ли тянет на роль Раневской.

– Смеяться?! Смеяться надо мной?! Я спрашиваю: кто сломал мой вишневый сад?! Вы?! – посиневшие губы невероятно шли к зеленому лику.

Видя, что буйная Агрипина Арефьевна через миг набросится с кулаками, Елена с Анютой, кой-как справляясь с неудержимым, желудочным приступом хохота – от сюр реплик, – поклялись, что сада не ломали.

Запинаясь на каждом шагу тупыми носками о паркет, зоологичка помчалась куда-то в направлении учительской, на ходу приговаривая загадочные проклятия:

– Мозжечком! Мозжечком! Чую, что это он! Мозжечком чую – он! Ну я ему устрою!

На четверть часа позже звонка на перемену (Склеп был единственный, после уроков которого не только не спешили убежать, но и напротив, любыми исхищрениями старались задержаться, повисеть где-нибудь рядом с его волшебным драным пиджаком) из кабинета литературы хлынул наружу замороженный народ.

Лиза, загадочно-счастливая, вся светящаяся, выплыла из класса последней. И, увидев Елену, попросила «по секрету» передать «всем», что Склеп уже сегодня вновь собирает тайное общество в три часа дня, у Сокола.

Заглянув в дверной проем, Елена обомлела: весь класс цвел, скучная доска, тинистые грязные шторы, скошенные и связанные в снопы по краям подоконников, – всё было задрапировано живым садом, всё кругом было в цветущей вишне – живые нежные веточки висели везде – и необъяснимым образом свешивались даже с трещащего, пыльного светильника дневного освещения, – и всё тот же странный, не-вишневый, цветочно-матовый аромат (тот самый, что царил в кабинете с первого же урока Склепа в их школе) чувствовался даже еще интенсивнее. Когда и как Склеп и возможные подельники исхитрились наломать вишни во дворе, перед самым школьным крыльцом, незамеченными – было загадкой.

– Именно! – довольно пояснил Склеп, увидев ее блаженную оторопь. – У нас был Чехов. Именно, Антон, «Вишневый сад», Павлович.

И Елена с благоговейным ужасом поскорее захлопнула дверь снаружи и приперла ее спиной – как какую-то рассохшуюся крышку ящика пандоры – все еще надеясь, что туда не всунет нос разъяренная зоологичка.

«Ну уж так уж и выломал! – усмехнулась она, выбежав на следующей же переменке во двор – позирнуть на освященные Склеповым искусством кустики вишни. – Так, чуток подстриг к весне, можно считать!».

И уж когда Аня, после уроков, на ее просьбу хотя бы на этот раз пойти со Склепом вместе, опять затянула: «Не могу, у меня дела сегодня дома» – Елена твердо решила, что на этот уж раз точно никогда не будет больше с Аней общаться.

Изумительным было то, что не только Аня (которая, как давно уже догадывалась Елена, любой новой ситуации – а уж тем более новых ярких людей – в жизни побаивалась, ни одной подруги, кроме Елены, не имела, и чувствовала себя комфортно исключительно в обще-

стве безопасных интеллигентных старых родственников на тихих семейных вечеринках), но и никто из тех нескольких десятков зевак, липших в школе к Склепу, как осы на варенье (после первого, феерического похода в синагогу и к баптистам, Елена не сомневалась, что сейчас, из-за скорости школьного телеграфа, увидит на месте встречи просто аншлаг), – не пришел. Под неработающими, с разможенным вдребезги циферблатом, часами на Соколе к крошечной компании прибавилась одна лишь Руслана – девушка-пышка, девушка с щечками-пончиками, девушки с косой в руку толщиной и с челкой завитушками, с пышными ляжками и в мини-юбке, словом, рослая полнотелая русская красавица, которой не повезло только с одним: родиться в семье полковника, бывшего ее и за плохие отметки, и за собственные неудачи по службе, и за мини-юбку – впрочем, менее жизнерадостной, свободолюбивой и симпатичной это ее не делало.

На этот раз десант высадился на Кировской: тихим ходом, круголями и зигзагами, путаясь в направлениях, газонах и проулках, и возвращаясь к азимуту опять, заглядываясь на высокие литые ворота и дореволюционные домики-замки с песочными эркерами и башенками с не-песочными часами, спотыкаясь об урны, застывая на малопонятные комментарии Склепа, медленно побрели вниз по взрывающемуся филигранно гофрированной листвой бульвару.

Свернув в конце на узенькую улицу с труднопроизносимым названием: именем деятеля (неизвестно что наделавшего – может бы и к счастью, что неизвестно) рабочего движения, – Склеп повел их по запыленной, с незрячими, ничего не отражающими, кроме жирных бликов, из-за грязи, окнами, дороге, составленной из старых зданий и огромной паровой трубы, вынутой из-под асфальта, выгнутой дугой, работающей теперь вот так – на весу, загипсованным инвалидом, – но все-равно радостной какой-то (с отскакивающим сухим эхом из солнечного проулка, где две девочки, вырвавшись от няни, желтым мелом, звонко цокая, рисовали на потрескавшемся бордовом цоколе себе дома по вкусу), принявшей весну дороге.

Здание, к которому подвел их Склеп, стояло к улице почему-то торцом – и с первого взгляда напоминало маленький старомодный кинотеатр.

– Именно! – отрекомендовал Склеп, когда они обошли, вслед за ним, заборчик кругом, и взглянули, наконец, зданию в лицо: портик под треугольным тимпаном, засвеченным солнцем; шесть колонн.

– Это что, опять синагога? – испуганно шепнула Лада Елене.

Склеп царственной поступью проиграл вверх октаву ступенек. И страшно просто ввел их, гуськом, в католический храм.

К удивлению, никаких коленцев, как с платком в синагоге и с магнитофоном в баптистском собрании, здесь Склеп не выкинул. Вступив в храм, он решительно шагнул к колонне с крошечной мраморной чашечкой, на дне которой блестела водица, на секунду нырнул туда кончиками пальцев, как в реку кролем, и затем спокойно и ловко сотворил в воздухе Север, Юг, Восток, Запад – громко, гулко и разборчиво выговорив:

– *In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti! Amen!*

– Ого! Языками владеет! Откуда это он, интересно... – тихо подхмыкнул сзади Хомяков.

Склеп, тут же, обернувшись к застывшим на пороге храма спутникам, возвестил:

– *Dominus vobiscum!* – и постоял так, лицом к ним, с секунду, как будто чего-то ждал – но, не дождавшись, разумеется, никакого ответа, вдвинулся между колонн в глубь храма, как будто органично вписываясь всем своим великолепным высоченным длинноволосым абрисом внутрь картины костела, где самым ярким источником света в это время суток и века было дребезжание воды, с поверхности которой Склеп только что вынырнул перстами. И там, застыв возле последней скамьи лицом к алтарю, уже спокойно и тихо зашептал что-то своему главному Респонденту. И такой яркой была беседа, что видно было всё: свет, надвинувшуюся ушную раковину – не дождавшись продолжения, все пулей вылетели под солнце.

Жаркий май. Размаянная дорога назад, на бульвар. Прощание с Хомяковым, промямлившим, что ему срочно надо ехать домой. Хихикающая Руслана. Желание тел упасть на лавки и замереть на солнце навсегда. Мистер Склеп, заметивший замешательство девушек (грязные лавки – цвета аллигатора – не присесть) – и молниеносно достающий из сумки волшебный баллон с пульверизатором:

– Грязь. Именно. Сейчас с этим мы справимся! – и мощнейшая струя, направленная из пульверизатора начисто смыла слой размоченной пыли и копоты.

– Что это?! Что это?! Покажите!

Дезодорант под названием «Интимный». Вот что это было такое. Только что выпущенный на каком-то советском заводе (похоже, военном) по конверсии, первый, после семидесяти лет зловонных подмышек, советский дезодорант. Дезодорант «Интимный». В баллонах такого размера и грубости – что казалось, что завод этот раньше приторговывал бутылками для молотов-коктейля. Ангел-костюмер, снаряжавший Склепа в дорогу, явно позабыл объяснить, для чего этот аксессуар нужен – и Склеп, по привычке, использовал баллончик со вселенской универсальностью. И Елена, наконец, поняла, что за цветочный запах источал кабинет литературы, с самого первого дня прихода Мистера Склепа в школу.

Хихикающая Лада. Хихикающая Лиза.

Мистер Склеп, со взглядом, устремленным в Вечность, в воздух, идеально прямо сидящий с ними на длинной лавке, на самом правом ее краешке. Мистер Склеп, молчащий о Вечности так напряженно, что, казалось Елене, легко считывались его внутренние слова, струящиеся в окружающем весеннем оранжевом мареве.

Когда через неисчислимые, незаметно и бурно пролетевшие месяцы, сидя вот здесь же вот, на этой самой скамейке вместе с Крутаковым (который, между делом, кокетливо наматывал собственный длиннющий черный локон на указательный палец, как на бигуди), Елена рассказывала ему историю появления и исчезновения мистера Склепа, Крутаков возмущался:

– Какой там институт! О чем ты?! Слава Богу, если его в психушку после этого не упекли!

С Аней Елена, на следующий день после костела, по загадочной причине, не разругалась. Да и приятно было, подладив вычитанную на здании костела и переведенную Склепом латиницу под каламбур, подразнить Анюту:

– Anna Domine!

– Замечательно... – чуть осклабясь, для приличия, бесстрастно произнесла Аня на все рассказы, – с интонацией «отвянь».

А на другой день на урок литературы в класс, вместо Склепа, заявила директриса и, краснея, сообщила, что учитель литературы уволился по собственному желанию, и, что пока замены не будет, урок можно прогулять.

– Слушайте меня сюда внимательно. Не шумите только. Пойдите, вон, на двор тихонько погуляйте. На солнышко. Под березки. Погода, вон, хорошая какая. По перилам не кататься только. И осторожно: решетку только вчера покрасили.

– Это же неправда, что он сам уволился?! Это, что, вы его уволили за эти дурацкие вишни?! Да вон же они, живехоньки, стоят! Это что, зоологичка добилась? Это – за церковь? – Елена успела преградить директрисе путь, когда та, огласив приговор, уже пыталась улизнуть до всяких расспросов.

Директриса с застенчивой грустью виновато отвела красивые кроличьи глаза, выразительно скосив их по направлению к учительской, и вышла из класса.

«Тройной аккорд. Как будто знал. Вышибли, гады. Вместо того, чтобы попросить на бис, на поклоны», – яростно выдыхала Елена, чувствуя, что к горлу подступает комок, и несясь по пустому коридору к учительской – логову гадов.

Учительская оказалась пуста. Завучиха по идеологии, густотой серой шёрстки в ушах, пыльным цветом всего облика и притушенным, протухшим голосом похожая, как сейчас каза-

лось, зараз и на муху, и на крысу и на паука, заседала в дальнем, смежном кабинете, размерами сопоставимом с директрисиным, и была изумлена, что к ней кто-то вломился – вздрогнула, напряглась, но тут же оправилась и нанесла из-за своего заваленного бумажками стола упреждающий удар:

– Лена, я догадываюсь, о чем ты со мной хочешь поговорить... – тоскливым, обыденным тоном выдавила она, но чуть нервно двинулись серые ушки.

– Это – за то, что он верует в Бога? Это за то, что он водил нас по церквям? Скажите прямо! Что ж вы так трусите и придумываете какие-то увольнения по собственному желанию? Уволили по доносу – так скажите прямо!

Завучиха вымученно-снисходительно усмехнулась:

– Ну зачем ты так, Лена. Ты ведь всего не знаешь. Сейчас я тебе расскажу...

– Чего я не знаю? Что это первый одаренный педагог в школе, за все время, которое я здесь учусь? Этого я не знаю?

– Лена... Дело в том, что уволить Игоря... как его? (завучиха картинно заглянула в какую-то бумажку у себя под левым локтем)...ах, да... так вот, уволить его потребовали твои же товарищи, твои же соученики... – скучающим голоском проскулила завучиха, и чуть усмехнулась одними глазами из своих глубоко запавших (так что было не достать) глазниц.

– Это – ложь. Никто из нас не мог требовать его увольнения!

И тут завучиха, с вкрадчивой улыбочкой искусителя, указывающего на твой же собственный грех, как на причину несчастья, поведала:

– Нет, это не ложь, Лена. Я тебе сейчас все расскажу – мы же друзья, правда? Ко мне приходили мамы Вали Хомякова и Ольги Лаугард. И потребовали, чтобы я его немедленно уволила, потому что он преподает не по программе. Я же не могу игнорировать волю народа. Правда?

Рыдая, размазывая кулаками сопли по морде, по пути домой из школы, сбежав, наплевав уже на остальные уроки, Елена почувствовала себя еще более беспомощной, чем когда-то в первом классе, когда фашистка – первая учительница – с волосатыми ногами и черными усиками над мясистой губой, изводила левшу Бережного, сидевшего с Еленой за одной партой, – страшными, извращенческими, нечеловеческими криками: «Бережной! Какой рукой пишешь?!» – причем, подбиралась, подползала к нему, извращенка-учительница специально сзади, неожиданно, незаметно – чтобы получить максимум садистского удовольствия: взять истерическим криком врасплох, – и после этого окрика следовал оглушительный удар учительской линейкой по столу рядом с его рукой – так, что к третьей четверти Бережной начал еще и заикаться. А Анастасия Савельевна, узнав про пытки, помчавшись к директрисе, устроила школе землетрясение, с гневным рефреном: «Она – эсэсовка! Вы держите на работе эсэсовку! Я дойду до Роно! Я не позволю издеваться над моим ребенком – и издеваться над чужими детьми в присутствии моей дочери – тоже не позволю!» – однако единственное, чего сумела добиться – это того, что Елену перевели от эсэсовки в другой класс, к тишайшей, добрейшей, почти ископаемой старой кроткой горбатой еврейке Ривке Марковне, дочери репрессированного.

И опять – так же как тогда, как в первом классе – самым ужасным, самым болезненным, самым невыносимым было то, что невозможно защитить того, кого уничтожают на твоих глазах.

С той только разницей, что Бережного прозревшие родители вскоре забрали из школы прочь. И Елена даже встретила его потом, через несколько лет, случайно в автобусе, на Соколе – подростком, вытянувшимся, молчаливым красавцем.

А Склеп просто пропал. У директрисы, когда Елена из учительской бегом к ней спустилась на первый этаж – в светёлку, запрятанную в самый угол, да так, что для того, чтобы добраться до нее, пришлось продираться мимо всегда катастрофой пахшего кабинета зубного

врача и приемной медсестры с голосом клизмы, – в журнале подозрительным образом не оказалось ни его телефона, ни адреса. Склеп дематериализовался. Вместе со своим разорванным кожаным жюстокором. Так, как будто его и не было. Как будто не было у него на земле ни телефона, ни дома, в который бы этот телефон провести.

Вечером на лестничной клетке, у мусоропровода, встретила бледноногая Лада в летних желтых шортах, с желтым пластмассовым мусорным ведром, уже опустошенным, которым она, шлепая шлепанцами по ступенькам, размахивала словно лукошком с цветами, словно столкнулись они случайно в весенней рожице, а не у вонючей мусорной трубы – с неделю уже никем не чищенной и до отказа забитой на первых трех этажах: так, что Ладе, зря пытавшей счастья у туго выпадавших ржавых железных челюстей (везде шла наружу густая мусорная отрыжка) и на втором, у себя, и на третьем – пришлось подниматься аж к ним, на четвертый. Щеря десны, и всё живя впечатлениями вчерашнего дня, Лада в восторге лепетала одну и ту же, дурацкую, пришедшую на ум на активном досуге, мысль, с таким напором, как будто это что-то могло объяснить:

– Знаешь, что я поняла?! Склеп – девственник! Ему ведь уже года двадцать четыре-двадцать пять? А он – девственник!

Тараторила. Пока не узнала новость.

Глава 2

I

– Поддавки получают. Все идиоты и гады у тебя с самого начала выглядят идиотами и гадами. А все симпатичные – симпатягами... И с самого начала яснее ясного, кто настучит... – лениво цедил Крутаков, переворачиваясь в симметричном от нее краю широченного дивана, – как всегда, с цикличностью блина, потому что опять отлежал себе руку, манерно свешенную с дивана вбок, с распахнутой, как павлиний хвост, книгой в кулаке, – и, тут же перехватив книгу другой рукой, и не отрывая глаз от строчки, уже вытягивался за дымящейся (но пока, к счастью, не протекающей) на метровой стопке книг слева от дивана глиняной чашкой чаю, раскоцанной во весь бок фигуристой молниевидной трещиной, – обожая делать десять дел сразу, – и она уже просто бесилась от этой его, в который уже раз в их болтовне медлительным сварливым контрапунктом запиликавшей, ленивой критики.

– Да что ж я могу поделывать-то, если это правда! Они и в жизни-то не очень скрываются – гады-то! Что ты ко мне вообще привязался?! Знаешь, что?! Не буду больше тогда вообще ничего рассказывать, раз ты тут еще со своими претензиями!

Когда крикливой, скоморошествовающей, рыже-розовой осенью (столь дождливой и хлесткой, что, казалось, согнув пополам стан, Москва яростно, беспрестанно, день и ночь моет над лужами волосы, пытаясь вывести аляпистую – хватанула лишку! – краску, – да только еще больше, с мокрым хлестким шумом, разметывает во все стороны не гаснущие в дожде яркие искры волос), Елена вдруг объявила матери, что поступать через два года будет тоооолько на журфак, в МГУ, и больше ни-ку-да, – мать едва ли как-то связала это с исчезнувшим, растерзанным, победившим Склепом.

Тем более, что рассказывать матери подробности всех их крестовых походов оказалось вдруг как-то не с руки. Не то чтобы Елене не хотелось снижать его образ поломанной вишней. Нет – с этим бы у нее не залежалось. Анастасия Савельевна, хоть и изумилась бы чуток, но вдосталь нахотелась бы вместе с ней над недоброй сизогубой, низкозадой крупскообразной Агрипиной. Нет, внутренняя заминка была в чем-то другом. И Елена никак не могла это что-то, почему-то тревожащее ее (по большей части, как раз своей неопределимостью), это мистическое стеснение для себя сформулировать. Склеп как-то разом заключал в себя всё – и гигантский, малиновый, быстрый росчерк чьего-то пера в предзакатном небе (не острия, а перистой его части) ровно над той скамейкой, на которой они сидели в последний раз на Средненском бульваре, – росчерк, таявший быстрее, чем по-вечернему рассыпчатая, прочерченная, чуть ниже под ним (криво и неудачно, – и гораздо менее доходчиво, чем перо) вполне видимым лайнером розовая линейка, еще через секунду выглядевшая уже как чей-то окаменелый распадающийся на глазах хребет, а еще через секунду – уже как ярко золотая цепочка (в честь вышедшего – где-то вне поля зрения – на краткие прощальные поклоны из-за фиолетовых кулис светила) с продолговатыми звеньями, а еще через секунду – уже как мелкие, редкие оленьи следы: сиреневого оленя, проскакавшего галопом – всё это принадлежало Склепу безраздельно, и высказано вслух, всуе, быть, по ее ощущениям, никак не могло. Некоторым образом к Склепу относилась теперь даже и Руслана, у которой, когда та нервничала (а нервничала она всегда), катастрофически пахло из подмышек, да она еще и имела привычку в знак восторга всплескивать всем своим обширным телом в воздухе от эмоций, – и страсть как хотелось там, на бульваре, попросить Склепа использовать его баллончик с дезодорантом один-единственный раз по земному, прикладному, назначению. И теперь, когда Елена видела Руслану на уро-

ках (а видела она ее довольно редко, поскольку та безудержно прогуливала: Руслана была тайно и несчастно влюблена в коротконового модника Захара – его пубертатные прыщи действовали на всех девушек в классе почему-то неотразимо, – Захар же откровенно над Русланой издевался, считая ее сентиментальной толстухой; и по этому поводу Руслана, заговаривая сердечное горе, пускалась во все тяжкие с какими-то хахалями «с дачи», из другой школы), у Елены возникало странное, почти необъяснимое щемящее чувство благодарности – что вот эта вот, случайная, в общем-то, спутница, – несносная, шумная, хотя и провинциально добрая, – большая, со всегда штормящим телом, – с которой Елена никогда не дружила, да и вряд ли до этого за восемь лет учебы перемолвилась серьезно хоть парой фраз – щеголяющая теперь, на уроках, невообразимым, огромным голубым бантом в косе, засаленными до блеска, кое-где распоровшимися от распора стати, швами школьного платья и запретным дискотечным блеском серебряной подводки для глаз – а всё-таки почему-то ведь тоже откликнулась на Склеповы байки – и участвовала в том дрожащем нежностью последнем кадре перед его исчезновением. В каком-то смысле, в загадочных, неотторжимых, сюзеренно-вассальных отношениях со Склепом оказался теперь, в воспоминаниях Елены, даже и тот, чем-то до сих пор неудержимо обвораживавший ее, мелодично разговаривавший, черный подвал, из которого, впрочем, в реальном-то времени, выскочила она вихрем.

Вычленишь, расчленишь, сократишь и телеграфировать Склепа кусками – без всего вот этого щедрого, явно к нему относившегося, явно из него же буйным, цветным взрывом распутившегося, явно специально ради него громогласно и ликующе сотканного природой антуража – казалось сколь невозможным, столь и лишненным всякого смысла: никакого удовольствия подобная телеграмма ей (как отправителю) не доставила бы. Склеп, как и всё вокруг него, всё то, что он затронул (хоть не глядя, хоть обиняком), и даже все, чего он не заметил – всё, всё это ощущалось несократимой сложностью, – и потерять хоть частичку – значило вдруг грубо расколоть невесомую, защитную, сияющую, хрустальную, с радужными голограммами на гранях, скорлупу, заключавшую в себя всю эту живую жизнь, и выпустить воздух из всего этого совершенного, воздушного, не ей сооруженного сооружения.

Да, да, и еще, пожалуй, странной, особенной ловушкой на языке застревал тот говорящий подвал. Но с этим-то затыком всё было понятно: мать бы еще год охала и причитала, что нельзя никуда ее одну отпускать, – зайкнись она ей об этом аттракционе хоть словом. И поэтому поохать матери довелось только кратко – над совсем уж протокольным сообщением: что эти скоты в школе сожрали еще одного.

И уж конечно, никоим образом, никакого рыцаря в разодранной кожанке мать, разумеется, и не подумала обвинять, когда, договорившись ехать с ней на дачу и уже усевшись в электричку на Белорусском (удача: заняли два места, напротив друг друга, – мать, по благу, уступила ей сиденье «по ходу», чтобы вперед лицом, и зачарованно, обожая путешествия, крест-накрест сложив руки на сумке, ждала толчка поезда), Елена, до этого тосковавшая и рассредоточенным взглядом изучавшая сотни три сигаретных окурков, из которых ни один не был похож на другой, каждый был смят и пригашен поразному (стоптанные ноги мелких доисторических животных, хранившиеся в могильнике между ребрами дощатой скамейки и окном) – вдруг взвилась, вспрыгнула (как вспрыгнул бы естествоиспытатель от гениальной идеи), с каким-то оскорбленным видом быстро огляделась вокруг, заявила, что у нее в городе срочные дела, про которые она напрочь забыла, и что ей срочно надо бежать. И, прежде чем мать успела поверить, что Елена не шутит, та уже пробралась в потной толпе к тамбуру.

– Постой, постой – возьми хоть денег! Куда? Ключ!

– Есть, есть, всё есть, – крикнула Елена, уже выбегая (за миг до того, как клацнул черный кадр «снято») из автоматических дверей поезда на платформу. – Ничего не надо!

Покрутившись, впрочем, на жаркой Белорусской площади (небо над которой по тону, как всегда, дотошно отражало интонацию самой площади: оплёвки кожиры подсолнечных семечек,

просто плевки, пыльная поволока, бензиновый дух), едва отбившись от двух мерзопакостных азербайджанских торгашей (грязных до жути, но с золотыми квадратными перстнями, с зубами – как вставная золотая кукуруза, и бронебойными пузами), и уже намереваясь войти в метро – обнаружила, что нет даже и пятака – и поехала домой на троллейбусе, зайцем. Да и в ежедневной жизни, как ей казалось, каталась она уже давно зайцем. Лишь слегка, микроскопически, – настолько мизерной частью своего сознания, что ею вполне можно было пренебречь и не брать в расчет, – участвуя в клеточной, завтрачно-ужинной, урочно-подружечной, внешней жизни, – все внутренние силы растрчивала она на вчувствование в загадочно, неразборчиво, но всё же абсолютно неоспоримо звучащее в ней приглашение. Куда? С кем? Зачем? Никаких ответов не было – но чувство это заполняло ее всю, и было реальней, чем что бы то ни было из знакомого, внешнего мира.

Празднуя лето, она тем сильнее маялась каждый день от не дававшей спокойно дышать тревожной уверенности, которую ни зажевать ни заговорить: что ей и на самом деле назначено какое-то свидание, – причем (и это осложняло дело) свидание это не зависело ни от какого конкретного места, и, уж тем более, не носило ничьего образа, ни имени, – а цветные эпитафии Склепа (картинки, на внутреннюю ощупь, ближе всех, по высоте звука, звенящие к чуду) использовало лишь как чудесный верстовой столб, изумительный указатель, – и, тем волнительнее было это ощущение, что чудо искать и ждать нужно было везде, быть начеку каждую минуту, чтобы не пропустить; а все-таки, загадочным образом, это, искомое, обещанное чудо всегда в ней каким-то авансом, залогом уже звучало и присутствовало – и это требовало напрягать все чувства еще более невыносимее, вслушиваясь, ловя резонансы – надо было быть настороже и внутренним эхом прощупывать во внешнем мире те, самые неожиданные, до изумления простые, самые отчаянно проходные, на первый взгляд, явления, в которых вдруг оказывался закодирован намек, отзвук. Ждущий ее, ведущий ее куда-то. Иногда, в крайней степени взведенных чувств, ей казалось, что зовущий звук внутренний этот настолько оглушительен, настолько ошутим, что и весь мир, все люди вокруг нее, его слышат. А с изумлением убедившись, по реакциям окружающих, что те либо глухи, либо слепы, либо глупы, – в нарциссическом, почти обморочном прозрении, заподозрив, что частота этого загадочного звона настроена специально под нее, – она, наоборот, иногда теперь даже боялась, что кто-то подслушает. Но – вокруг все было спокойно, как на кладбище. Покойнички бодро и послушно, строго по распорядку, отправляли свои ежедневные гугнивые дела. Загадочный отзвук, похоже, улавливало только ее внутреннее ухо. Никто никуда не вскакивал, никто никуда не выбежал. Все люди вели себя вокруг, как сговорившись, размеренно, в соответствии с собственными зоологическими видами, подвидами и семьями. Хищно рыскали в поисках малолеток, за десятку, по Белорусской площади азеры. Какая-то женщина с цыганским интригующим голосом, похоже, потерявшая свою собаку, с левого угла площади истерично подзывала: «Роза, Роза, Роза, Роза!». Аня была сослана в пионерский лагерь: покорно собрала вещички, постриглась – как по линейке подровняв волосы, напялила мужскую зеленую бейсболку и поколдыбала к групповому автобусу. Эмма Эрдман, в чернейшей меланхолии, тщила дни в заточении на даче в Переделкино, и то и дело ухитрялась звонить Елене из какой-то сторожки, тоном ослика Иа-Иа признаваясь, что завидует ей, что она в городе, и умоляя приехать. А мать Елены все выкрутасы дочери кротко приписывала переходному возрасту.

Чувство, с которым Елена теперь каждый день пробуждалась, жадно всматривалась в мир, а вечером засыпала и сновидствовала, было и впрямь сродни влюбленности. Только с неясным объектом, рассредоточенным, являющимся в различных невидимых и видимых вещах, между собой перекликающихся, и таинственно связанных, которые тем не менее, звучали не сами по себе, а создавали лишь незримую, звонко натянутую, тут и там, нить, как поводья для слепых – зазвенело: ага – мне туда, мне, несомненно, туда – и здесь, и вот здесь, и вот здесь опять что-то есть, – и стягивались, влеклись в неизвестном ей пока направлении. И игра

со звенящими стрелками – а, главное – требовавший всех усилий души поиск этого направления, куда они все оглушительно, но неясно указывали, – ежесекундный поиск этот, выпихнувший ее вдруг из вагона (сделав вдруг до невыносимости отвратительной мысль о предстоящем часовом заключении в электричке, забитой никак не относящимся к ее внутренней жизни зоологическим отрядом тупорылых теток с военным запасом жратвы в курдюках) – и было тем делом, наличием которого она отбоярилась от матери, – и, с недавних пор, собственно, главным делом ее великовозрастной, пятнадцатилетней жизни. Тоска – смертельная тоска, когда отзвуки и отсветы вдруг затухали (и эта внезапная мягкая глухота тоже звучала, но совсем по-другому – резким, едва выносимым, как будто ножом по струне, визгом, воплем «мне сюда не надо»), – каждый раз своим непрошенным появлением заставлявшая ее судорожно, до смерти испуганно, пытаться понять, на каком перекрестке она неправильно свернула, где она в последний раз явственно слышала таинственную музыку, видела подсказки, знак, отсвет – и надо было спешно вернуться и начать на ощупь поиск заново – и в эти отчаянные минуты она могла сделать всё что угодно: закричать, нахамить матери, обидеть ее, – чудовищная тоска эта была, собственно, расплатой за напряженное счастье всех прочих минут.

Доехав до Сокола, расседлав троллейбус, она, не веря своим глазам от счастья (несколько другого, земного рода), обнаружила, что в киоске (куда, в честь привоза в город дефицитной жары, выстроилось уже человек шестьдесят паломников) продают, впервые за последний год, ее любимейшее, редчайшее, фруктовое мороженое, в низеньком бумажном стаканчике.

Добыть деньги в отсутствие матери можно было единственным, проверенным способом. Она на радостях – не чуя под собой ног – бросилась домой, уже предвкушая скорую кислосладкую ягодную ледяную бомбу. Способ был прост, как веник. Собственно, веник и был способом. Мельком поздоровавшись на ступеньках перед парадным с Максом – флегматичным молодым человеком, блошисто трящим головой и почесывавшимся, и увалисто переминавшимся с ноги на ногу, точно как валандавшаяся с ним рядом, без ненужного поводка, флегматичная черная слюнявая водолазиха Зана (враки, что собаки подражают хозяевам – это люди, наоборот, с годами подстраиваются – вон, у него уже сейчас слюни потекут, того и гляди), Елена, не читая даже заглавных ступенек, меряя лестницу гигантскими аккордами, и зависая на заворотах на поручне, чтобы одним рывком подтянуться ввысь – как будто подпрыгивая с шестом, – взлетела к себе на четвертый этаж, ворвалась в квартиру (хоть ключ не забыла!) и совершила действие, видя которое, мать наверняка бы хлопнулась в обморок от умиления: пробежала в материну комнату, достала из-за книжного стеллажа веник, не слишком-то в их с матерью двухкомнатной квартирке востребованный – и с остервенелым энтузиазмом взялась выметать квартиру. В комнате Анастасии Савельевны, между лилий в гигантской кадке и декабристом (не цветущим ни в декабре, ни в мае, ни сейчас, в июле, а живущим просто так – на личном маленьком столике), под круглым пестрым ковриком тут же звонко обнаружилась двушка. Чуть левее, прослышав о срочной мобилизации паркетных сибаритов, к ней суетливо подбежала еще одна, ржавая, копейка. Из-под малинового трюмо (на котором, вместо диктуемой жанром косметики, под тройным раздвижным зеркалом, они с матерью частенько, против всех этикетов, ужинали, или расставляли угощение, когда в гости заваливалась орда Анастасии-Савельевниных студентов, – любя этот угол, видимо, из-за того, что благодаря отражению, еды казалось в три раза больше), вместе с колбаской пыли, удалось выбить аж пятнашку: бледную, незаметную, маскировавшуюся под никому не интересную и не нужную пыль, которая, кабы не жажда редкого мороженого, так бы и валялась там до конца света. Узкая щель под собранным диваном Анастасии Савельевны была самой многообещающей – и пришлось сесть на корточки и выуживать уже вслепую. Шарить там пришлось долго. Ни через полминуты, ни через минуту, к чудовищному ее разочарованию, улова не было вовсе. И, фыркнув, Елена распрямилась и побежала в ванну умываться ледяной (отключили!) водой от пыли. В кухне было побогаче: под крошечным, раскладным красным квадратным «обеденным» столом (который,

продолжая добрую традицию мебельного маскарада, Анастасия Савельевна, наоборот, использовала чаще вовсе не для еды, а для временного приюта любимых, ручных книг – и сейчас там в обнимку голодали синий Блок и серый Чехов), прямо на видном месте, на квадратном, как для игры в классики, паркете, лежал себе пятак – хоть и не без зеленцы на бронзе. В столик с посудой, который они с Анастасией Савельевной между собой почему-то называли «рабочим столиком», – с выдвижным (хотя и с трудом) ящичком, где, среди ржавого хлама, была обычная на́чка их мелочи, – Елена сейчас даже и не полезла, зная, что в прошлую среду, в голодные дни перед материнскими отпускными, они и так уже выгребли оттуда с Анастасией Савельевной всё подчистую. Под дверцей холодильника обнаружилась еще копейка. За голубым старинным буфетом (собственноручно аккуратнейше выкрашенным Анастасией Савельевной в небесный) – было пусто. Зато в зеркальном ущелье за круглой некрашеной высокой деревянной этажеркой для туфель (смастыренной для Анастасии Савельевны ее бывшим студентом Платоном – вечно лохматым, кудлобрадым, добродушным, одиноким, с огромными ручищами парнем – с младенческим, но тоже огромным, чуть низколобым, лицом, – тем самым Платоном, который сколотил и особый, удобнейший, хотя и примитивно простой, идеально отполированный, пахучий, большой прямоугольный светлый липовый стол, без ящичков – планировавшийся под обеды – но который Елена забрала себе, как письменный), ждали ее еще два пятака и пятнашка. И, наконец, самая крупная и самая внезапная, совсем уж невероятная добыча: железный рубль выбит был венником из-под медных педалей смуглодекого Дуйсена, в ее уже собственной комнате. Закутана монета был в шаль пыли и пуха *populus moskoviensis* (как констатировала бы идиотка Агрипина). Рубль оказался чернобыльского года разлива – восемьдесят шестого, и даже, на удивление, без морды Лукича – а, наоборот, со взлетающей, вырвавшись из чьих-то неприятных лап, голубкой.

Не тратя времени на выбрасывание отслужившей пыли, вымыв только руки и процедив в горсточке под ледяной струей воды монетки, как на прииске, и решив, что теперь, без матери, она сможет питаться одним мороженым хоть целую неделю – только бы в киоске у метро еще хоть что-нибудь осталось – Елена, захлопнув поскорее за собой дверь (после венника сверкающие пылинки металась в воздухе, как озверевшие сверхновые), и очень-очень осторожно, пережевывая моржово-мороженную, на до-мажор, скороговорку, притормаживая, как на таможе, на каждой бежевой меже – главное, чтоб не как бомж – об блок лбом (почему-то, всегда было безумно легко лезть вверх по лестнице: ноги как-то сами находили опору; а вот вниз – ужасно трудно! – невозможно было сосредоточиться на скучнящих ступеньках: странно было брать под арест мысли в лестничную клетку: сразу сбегали! – и не раз уже пропахивала мысли коленками; поэтому приходилось любыми, даже языколомными, исхищрениями, пригвазживать внимание ритмом к каждой ступеньке) – перелистнула лестницу – и помчалась к метро.

Нет, пуха на улице уже не было – а жаль. Те короткие полторы – две недели, когда над городом какие-то невидимые, но явно симпатичные дети швыряются друг в друга подушками и, хохоча, потрошат их, – она, втайне, очень любила. И вообще, любила, когда город заваливало – пухом ли, снегом, не важно. Зимой, когда из-за снегопада все ступорилось, миллионы закоренелых остолопов в одночасье становились беспомощными, и хоть на секунду переставали верить в свой распорядок и в то, что всё от них зависит. Или, вот еще когда вдруг во всей «белой башне» (как называли все в округе дом, в котором они с матерью жили – хотя и была-то эта «башня» всего лишь обычной блочной девятиэтажкой, без лифта. И «белой» назвать ее можно было лишь весьма относительно, с большой натяжкой, и по преимуществу вечером) на минутку вырубалось электричество, или, еще лучше – когда вырубалось минут на пять на всей улице. Стихийные безобидные шалости – когда от растерянности даже самые безнадежные зомби хоть на секундочку перестают быть зомби – она втайне с восторгом приветствовала: как какие-то вынужденные меры по приведению самоуверенных идиотов в чувство. Но пух,

конечно, был красивей и эффективней всего: когда слепцам, на всю жизнь зажмурившимся и напаявшим себе, вместо черных очков, на глаза, свое гугнивое, оксюморонное «очевидное», – и глухарям, залепившим себе мозг и уши сырым мякишем батона за тринадцать копеек, – вдруг, против всех правил и обычаев, проводили принудительный засев невероятного через нос. А высокие травы на диких газонах валяли белые валенки.

Сейчас, по мотивам андерсеновского огнива, дорогу до метро даже чудак-инопланетянин, умеющий смотреть только себе под ноги, мог бы без труда найти по липким метинам: отклеившимся, из-за извержения мыльно-алкогольной пены, этикеткам (усевавшим тротуар, увы, вместо пуха), и по буйкам крышечек и пробок – и винных, и пивных (в детстве мальчишки во дворе, с восхитительной грязью под синюшными ногтями, как-то раз похвастались перед ней новой игрой – игрой самой, пожалуй, дебильной из всех, что она знала – собирать под окнами и в палисадниках пластиковые крышки от винных бутылок: самыми расхожими и низко ценимыми, дававшими всего сто очков, были белые крышки, и назывались они почему-то «Прапорами»; дальше шли крышки красные – «Генералы», дававшие двести очков; и верхом мечтаний соседских пацанов было найти винную крышечку желтую: «Адмирала», дававшего сразу триста очков. Набирали все игроки к концу дня по несколько тысяч очков. И теперь Елена почему-то то и дело замечала под ногами этих желтых адмиралов – и пинала их в кювет); дорогу можно было легко опознать и по любителям оных отечественных напитков, не дошедшим, не добредшим, не доползшим (либо от метро, либо к), осевшим на газон, или стоящим, вон, в обнимку с электрическим столбом, как те двое, мрачно-сосредоточенно изображающие добропорядочных граждан; или – как вон тот, в (грязными ногами избитом) пиджачке, на автобусной остановке, бессмысленно улыбающийся собственным клетчатым рваным домашним тапочкам; а то и по тем, попросту тихо, мертвянно спящим на земле, как тот вон тридцатипятилетний старик с черным от солнца морщинистым лицом под кустом ирги, заботливо удобренным со всех сторон разноцветным битым стеклом.

Киоск мороженого был пуст. В смысле – пуст на ее вкус. Осталось блевотно-жирное «Бородино» (она никогда не могла отделаться от неприязненного отношения к людям, которые сорт этот любили и покупали – казалось весь жир, и весь фальшивый, жиденький, непристойного, бежево-мутного, обжористо-среднячкового цвета шоколад, пристают к их зрочкам и становятся жирным, невыразительным, талым, фальшивым цветом их глаз) и глупейшее эскиммо за сорок восемь (контингент его потребителей, как ей казалось, был еще хуже: приходят домой, садятся ввосьмером за стол, не снимая спецовок, валят эскиммо с матюгами в супную тарелку и рубают столовыми ложками; или, наоборот, уж полная тошнота: на генеральской даче, холодным летом, раскладывают специальным круглым железным дозатором, как скальпелем, ждут, пока растает, и пичкают потёкшим приторным молоком тупых белообрисых жирных внучков, из квадратных креманок). Громадный горланистый седой мороженщик (казавшийся ей как раз третьим подвидом потребителей эскиммо за сорок восемь) неожиданно, вместо матюгов (подошла спросить без очереди), любезно изрыгнул информацию, что фруктовое сегодня завезли и в киоск на другой стороне шоссе, у рыбного – и что если она поспешит, у нее есть шанс успеть.

Блюющий алколоид в подземном переходе под Ленинградкой явственно и внятно, при каждом рыге и приступе рвоты, по слогам, последовательно и громко произносил слова: «Боро-ди-но!», а потом: «Крем-брю-ле!» Блевал, впрочем, аккуратно – не посередине серого пыльного бетонного коридора – а мог бы! – а с боку – в прикрытую ржавой железной решеткой канавку.

В другом конце перехода грузный ветеран с культяшками вместо ног, путешествующий на плоской деревянной доске с ублюдочными пианинными колесиками, перебирая пол деревянными чурбаками, чтобы не изранить руки, и позвякивая, при каждом рывке, медалями на пиджачке, осилил, корячась, только что бетонный скат для детских колясок, и теперь, еле-еле затормозив, и бросив чурбачки, достал из нагрудного кармана пачку беломора, вложил

в безжизненный искривленный рот папиросу, даже не зажег ее, чуть прислонил себя спиной к пупырчатой стене, и застыл – и выглядел как прижизненный курящий надгробный памятник-бюст самому же себе.

Алколоид, помоложе первого, – вида тростника в ветреную погоду, еще не блюющий, но явно желающий догнаться, дежуривший в том конце тоннеля, – подвалил к инвалиду с каким-то заискивающим предложением.

Весь этот темный узкий подземный коридор, обычно казавшийся бесконечным, сейчас, вместе с полуживыми подземными экспонатами, промелькнул на бешеной скорости – потому что уже стучало в висках и барабанило в грудной клетке от забранного дыхания: сам тоннель был, конечно, уже не фиалка, в смысле запаха – но вот эти вот ступеньки, с северной стороны, служили уже просто узаконенным массовым писсуаром, и разжать сейчас нос – было бы самоубийством. И, из последних сил, на нечеловеческой уже выдержке сдерживая выдох (ошалевший в легких воздух, заранее набранный еще с южной стороны), Елена взнеслась вверх по ступенькам и, вынырнув, наконец, на залитый солнцем асфальт, выдохнула – и вздохнула чистейшей, привычной бензиновой гари.

Мороженое чувствовалось как награда. Народу у киоска практически не было: в очереди толклось всего-то человек пятнадцать, и купив сразу пять порций фруктового в крайне низеньких стаканчиках, составив их этажеркой, и, задумчиво и плавно, отходя от киоска (потому что сразу принялась за верхний этаж сальто-мортале), Елена решила, что лучше уж донесет свой передвижной ресторан до дальнего светофора – но больше под землю – ни-ни. Ну зачем, зачем они безнадежно портят все остальные сорта, добавляя в них жирнющего молока?! Самое дешевое и самое вкусное – без всякого молока. В нем ничего, кажется, больше нет, кроме кисловатой фруктово-малиновой кашицы и сахара. И щепотки стирального порошка «Лоск», как добавляет язва Аня Ганина. Доедая уже третий малиновый рассвет (совпавший с рассветом светофора) длинной прямоугольной, прессованной, сладкой (когда погрызть) фанерной палочкой, по кругу, начиная с краев, где чуть-чуть подтаивало, и цвет становился интенсивно сиреневым, – уже на пути к дому она вдруг почувствовала какое-то странное, необычное покалывание на небе – как от стекловаты. Сорвав со следующего мороженого круглую этикеточку, прикрывавшую малиновую твердь, она разглядела, что застывшее фруктовое море и вправду обсыпано какими-то мельчайшими блестящими острыми штуковинками. Попробовала: действительно, колетса и на языке не тает. Не лед – точно. Стекловата и есть стекловата.

«Погибну, как Герда, сожравшая Кайеву порцию ледяного стекла», – с ужасом подумала она – и накормила четвертым мороженым урну. На пятом мороженом, вроде, никаких стеклышек не наблюдалось – и глупо было бы выбрасывать. Горло, тем временем, кололо все больше. И чувство некоторой атавистической неловкости перед матерью (вернется – а я тут от сожранного стекла окочурилась) заставило ее сесть в автобус и поехать в поликлинику. Детскую. Потому что во взрослую перевестись еще не успела.

В новеньком, смешно игравшем посредине салона на черной гармошке, пахнущем резиной, ярком венгерском Икарусе (который все еще чувствовался как диковинка – в сравнении с желтым, кургузым, коротким, похожим на катафалк из жестянки, советским автобусом) – на моднейших, раздвигающихся и складывающихся дверях красовалось (огромными печатными белыми буквами) краткое, драматичнейшее объявление: «СТОРОЖ РЫГАЕТ ВНУТРЬ!»

Работа была чистая – без единой дорисовки: невинная, но набившая, видать, кому-то оскомину фраза «ОСТОРОЖНО, ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ!» была изящно откорректирована исключительно путем сокращений – неведомой бритвой или острым ножом народного редактора. Не без таланта.

И в другое время она бы этой лингвистической находке порадовалась. Сейчас же в бедах сторожа ей почудилась какая-то неприятная рифма с ее личным дурацким мороженым происшествием.

Поликлиника запрятана была далеко – аж у самой реки – вернее у Строгинского канала, рядом с шукинской Лысой горой. Войдя в вестибюль, и вмиг унюхав, услышав, узнав до боли знакомые визги, запах микстур, спирта и хлорки, и, в ужасе, машинально разыскав взглядом на верхней полке стекляшки аптечного киоска, рядом с регистратурой, какашечные батончики гематогена в блёклой бумажке, почувствовала бурный приступ тошноты, хуже, чем у алколоида на Соколе: этим приторно сладким, с каким-то нездорово жирно-пришибающим густым привкусом рифленным батонком (с выдавленными желобками для разлома на громадные попеременные дольки), за недостатком в магазинах какого-либо другого лакомства, сразу же потчевали чад (чтобы выменять на это хотя бы минуту тишины) без исключения все входящие в поликлинику мамыши; ровно с этой целью приторная вязкая затычка на входе и продавалась – как подачка собачкам; Елена и сама легко вытряхивала из памяти ряд кадров, где, трехлетней, четырехлетней, пятилетней, сидя с матерью на липкой клеенчатой банкетке в белом коридоре со смаргивающим, угрожающе жужжащим освещением, в мучительной двухчасовой очереди к врачу, с голодухи и скуки, жевала щедро закупленный матерью хоть и гадкий, но сладкий гематоген – и не один! – и теперь Елена видеть его без тошноты не могла – потому как, с год, что ли, назад, медсестра раскрыла ей страшную тайну – что гематоген это никакая не сладость и не угощение – а бычья кровь с сахаром. Ничего более блевотного, чем веселое прикармливание ничего не подозревающих детей с детства бычьей кровью, придумать было невозможно.

От этого милого воспоминания и «Бородино», и эскимо за сорок восемь, вмиг оказались реабилитированы: «Ладно, блажь, вкусовщина – «Бородино» хоть и не очень приятное, хоть и не нравится мне лично, но все-таки это мороженое – человеческая еда, а не нечеловеческая – не батончики кровожадных людоедов, подсаживающих на кровавые яства с детства своих отпрысков».

Елена наверняка бы сбежала тут же из кошмарного здания – наплевав на колкие сигналы в нёбе, и на только что, после воспоминаний о гематогене, начавшийся коловрат в желудке, и вообще на всё уже наплевав от омерзения, – если бы не вспомнила вдруг кое-что другое, теплое: чего не знали большинство несчастных визитеров. В одном из недосыгаемом для простых смертных, всегда запертом отсеке здания находился бассейн – хоть и маленький, но на удивление чистый; и когда Елену в девятилетнем возрасте сбила по дороге из школы машина (сознание аккуратно выключили и столь же аккуратно включили через четыре минуты – так что сам момент удара и мнимой смерти вырезали из памяти какие-то заботливые ангелы), после месяца – с марта до апреля – абсолютной неподвижности дома (мать забрала ее из больницы сразу, подписав все эти страшные бумаги, что в случае смерти дочери, она будет сама за это отвечать: вовремя сообразив, что от знаменитых прелестей совковой больницы сверхчувствительная дочь загнется просто еще быстрее и со стопроцентной гарантией), наступил для Елены рай: вместо мучительной школы – полугодовое домашнее обучение, вместо мерзких ранних пробуждений – здоровый сон до состояния полного подрумьянивания, и ленивые благодатные поездки два раза в неделю сюда, вот в этот вот, практически персональный бассейн. Мать, которая в обычной внешней жизни была все-таки человеком довольно застенчивым, никогда за свои собственные права постоять не могла, тут, когда жизнь дочери была в опасности, – пошла на государство в смертельную атаку, как танк: и пробила – казалось бы, непробиваемые – стены – выговорив для нее невероятные свободы, – и жизнь действительно была райская. В том, счастливейшем, апреле, учась заново ходить, надевая ярко-гранатовую жакетку крупного вельвета в мельчайшую черную крапинку с распахнутым воротом (сшитую матерью подругой – мать шить ненавидела, считая это таким же делом скучным, нудным и бесполезным, и даже оскорбительным для женского достоинства, как уборка дома: только время тратить, лучше книжку почитать) и повязывая, по просьбе матери («Холодно ведь еще, надень хоть это!»), на шею шелковый темно-фиолетовый платок – с безнадежно объеденными, увы, самой Еленой в детстве, краями, – которые Елена, взбив, запрятывала, франтовски, в бант, – еще неуверен-

ными шагами, и с какой-то неуверенной поступью самой души: неужели жива? неужели мне можно наслаждаться весенними этими запахами – этим расцветшим утром? вот этой свежей, новенькой, только что сделанной зеленью, залитой апельсиновыми брызгами солнца?! – она медленно, плавно, стараясь не показывать матери, с замиранием сердца следившей за ней в окно («Ну мам-м-м, ну не ходи ты со мной, как с маленькой!»), что каждый шагок левой ногой до сих пор причиняет ей боль, обходила один почетный, выставочный, круг вокруг башни, – и ехала в камерный бассейн. Вода была блаженно теплой – как в ванне. Из-за того, что бассейном практически никто не пользовался, даже хлорки туда сыпали не так-то уж много – по крайней мере, не теми, традиционными, слоновьими дозами, из-за которых Елена никогда не могла ходить в обычные публичные бассейны. Теоретически, сдобная, пергидролем крашенная, вся очень белая, очень пышная медсестра обязана была сидеть все время на стуле у кромки бассейна – и следить за ее плесканием. Но, по обоюдному дружескому сговору, Елена охотно отпускала ее в соседний кабинет – где та, заперевшись, с наслаждением трепалась по телефону с товарками. И именно тогда, без нее, уже начинались все запретные дельфины нырки, и даже плавание на спине (то и дело, правда, кончавшееся тем, что с разгона стучалась головой о кафельный край бассейна – для крыл все-таки размаха не хватало).

Теперь всё это казалось уже вполне мифом – хотя тепло воды, распаренность воздуха над бассейном и вот эти вот идиотские утыкания башкой в белый плиточный бордюр – в секунду заново ощутились телом. Сквозь месиво ожесточенно вопящих друг на друга больших, маленьких, и очень маленьких телец она решила сделать несколько шагов вглубь. В регистратуре, сквозь окошко, прорезанное в стекле (прорезанное криво – казалось, воровским стеклорезом), мелькнули испуганно-злые очки пожилой врачихи с ярко-баклажановыми, кое-как стриженными волосами; услышав подхохатывающие объяснения Елены, она выскочила из-за запертой витринки (оказавшись вдруг совсем-совсем крошечной – Елене почти по пояс; и кривобокой) и, тряся баклажановой паклей, сердито, так, как будто Елена в чем-то провинилась, отконвоировала ее в отделение неотложки.

В кабинете сидел незнакомый ей молодой врач, явно только что после института: с веселыми глазами.

И вместо того, чтобы задавать ей логичные вопросы, типа: «Ну скажите на милость, откуда же в мороженом могло взяться стекло?!» – стесняясь, почему-то, смотреть ей в глаза, а игриво заглядываясь вместо этого на висевший на стене слева, расчлененный и пестрый (как живопись освежёванной говядины в гастрономе) человеческий портрет, с жилами, артериями, венами и пищеводом, – проговорил:

– Ну... Что ж я вам могу сказать? Вы либо умрете – либо не умрете. Давайте подождем до завтра.

Выйдя на вольный жаркий воздух и испытывая некоторую грусть от описанного им возможного варианта «а», Елена, по привычке, привитой ей матерью: баловать себя в критических ситуациях, – спросила себя, что бы она больше всего на свете хотела успеть сделать, если и вправду завтра умрет. И тут же, ускорив шаг, даже не спустившись к реке, припустила в обратную сторону: мимо унылых блочных гробов, чуть скрашенных несчастенькими недорослями-рябинками, отчаянно жестикулирующими ей изумрудными мизинцами от малейших дуновений ветерка, – бегом, почти бегом, к метро.

Минут через сорок, выскочив из метро на «Площади Ногина», дико удивляясь сама же себе, почему же она не добежала или, даже, скорей, зайцем на троллейбусе не доскакала сюда сразу же, утром, с вокзала – настолько само собой разумеющимся показался теперь ей маршрут – она, запыхавшись, взбиралась на ту самую, крутую горку, над Солянкой, куда водил их Склеп. Продефилировав до этого по Архипова – стараясь выглядеть так, словно быстрым шагом идет мимо по делам, – а, в момент, когда поравнялась с синагогой, как будто совершенно случайно быстро взглянув на колонны (под портиком, впрочем, никого не оказалось) – войти туда, памя-

туя безобразия с носовым платком, и интриги с отдельной женско-мужской молитвой, одна не решилась.

Цвета на небе уже подтаивали, оплывали, мягчали, готовясь к вечерним эскизам, кое-где, на кромке палитры, экспериментируя: смешивая абсолютно несмешиваемое – разжиженный газовой-голубой и золотисто-салатовый, с желточным и фруктово-ягодным, за семь копеек. Вот она – глухая бурая длиннющая стена слева, вот она – белая колокольня вверху, вот она – развилка, где Склеп ловко путеводил своим жюстокором вразлёт.

Входа в страшный подвал она, как ни крутилась по окрестностям, не нашла. Зато, после всего-то два раза перепутанных поворотов, обнаружила баптистскую церковь – и, вспомнив, что даже после магнитофонного закидона баптистские ребятишки в метро улыбаются им как родным и умоляли приходить – заглянула внутрь. Распевы гимнов были в самом разгаре. Полный, опять полный зал. Мечтая не усугублять без того подпорченной репутации – изо всех сил стараясь не скрипеть разохшимися деревянными ступеньками (казалось, как раз специально изготовленными и высушенными – для того чтобы ими как можно громче скрипеть), взобралась на знакомые места на верхнем ярусе.

Рифмы гимнов по-прежнему казались милейшей наивной шуткой. Знакомый запах капустных щей не давал покоя – и тоже вызывал улыбку, как забавнейший местный юмор. Зато, то и дело, неудержимо притягивала взгляд кратчайшая формула Бога – лиловыми, как будто зацветшими, буквами записанная на заднем витражном стекле за трибункой – и вызывала улыбку уже совсем другого рода: воздушную роспись согласия с жарким, лиловым смыслом букв.

Речи, произносимые в перерывах между гимнами, понять было, почему-то, по-прежнему абсолютно невозможно. Вроде бы, все слова говорились по-русски и выговаривались ораторами разборчиво... Как ни тужилась она, смысл выступлений не доходил до сознания вовсе – хотя, вроде, все слова были понятны по отдельности. Как будто какая-то пелена удерживала от того, чтобы схватить общий смысл.

Зато, выхваченный из чьего-то выступления, приятный, рельефный эпитет «Нагорная» она сразу с радостью (мысленно поприветствовав, как родной) тут же приладила ко всей этой волшебной частичке Москвы, озаренной для нее Склепом. «Москва Нагорная» – повторяла она, улыбаясь, уже через полчаса, крутясь, вверх и вниз, по кривым переулкам, – с этим, хоть и не богатым, но всюю звеневшим счастьем словесным трофеем – как нельзя более кстати дополнявшим и загадочные, не весть куда ведущие, вязанные крючком калитки в резных арочках, и старые кудрявые литые козырьки парадных, – всю эту низкорослую поросль дореволюционных домишек, – а, заодно, и хоть как-то латавшим внезапный срам: отвратный бордовый кафель, уделавший цоколь какого-то старенького, незащитного зданьяца.

Воздух из знойного сделался чуть с прохладцей – как будто где-то открыли форточку: проветрить. Покровский бульвар, куда она, побежав под уклон вместе с улочкой, как в какую-то канавку, скатилась, – показался выпретенно-задрипанным и скучным. Оглянувшись на шило сталинской высотки, решила все-таки крутануть против течения бульварного циферблата – вверх. И опять началось запыхавшееся восхождение: шла с такой скоростью, словно боялась, что кто-то догонит. Не задумываясь, куда выйдет, перемахнула через узкий, запруженный машинами (сражающимися с трамваем за рельсы) перешеек, поражающий истошным выражением трех десятков подряд распахнутых изжаренных крошечных форточек двухэтажного кривоватого осевшего старинного барака, – на уже гораздо более веселый Чистопрудный: олени с витыми коромыслами вместо рогов; коронованные утки-переростки, с закрученными клювами, выше деревьев; крылатые тянитолкай, сросшиеся задами; антилопа, изумленно оборачивающаяся, чтобы рассмотреть, почему это у нее вместо хвоста вырос пятиконечный листочек; и просто уже обычные, повседневные козероги, резвящиеся среди преувеличенных марсианских цветов. И дальше, аккуратно перенеся взгляд, как в горсти, с выпуклого объема старой

стены прямо в зеленое болотце пруда – махровое по краям от отражений крон лип, и зорко патрулируемое алколоидами (достоверно отражающимися друг в друге) уже просто на каждом шагу. Выясняя у подернутого гарью, но заметно порозовевшего неба, скоро ли закат, чуть не угодила под трамвай: взбесившаяся зебра с бульвара почему-то вела прямиком на рельсы. И вдруг, когда уже уткнулась носом в уродливо-прямой, казарменный, сталинский параллелепипед вестибюля метро Кировская – колосса на дистрофичных колонках – поняла, что она ведь уже где-то в двух шагах от костела: третьей ноты, звонко взятой Склепом.

Жадно разгуливая взглядом по горчичным эклерным эркерам заморозивших ее опять домов с башенками, она добирала то, что никоим образом во время их последней прогулки со Склепом (да и вообще – при знакомых людях) произведено быть не могло – а именно: застыв и затаив дыханье, как бы переносилась на поверхность башенок, на крышу, вплотную ко всем этим архитектурным фортелям, – фокус с размерами шелкал как-то сам собой, без всяких ее усилий – и через секунду здание оказывалось уже ручным: доверенной ей маленькой игрушкой, а она сама – наоборот, как будто чуть вырастала, вытягивалась вверх и могла без напряжения дотронуться до кровель, – а то складывалась вновь и чувствовала себя свободной подлетать к многоэтажному домишке, чтобы спокойно по нему шастать, и рассматривать крышу, откуда-то сверху, из воздуха, – и мягко шупала ладонью на крыше шершавые башенки, мизинцем подкручивала и заводила неработающие на башне часы, безмянным пальцем проводила по лучным теремковым дужкам – выгнутым, в точности как если большие и указательные пальцы правой и левой руки симметрично соединить между собой и чуть пружинить ими – что она тотчас и проделала: соединила, спружинила и меряла пальцами равные формы на крыше; лазила, по зачем-то оставленной на башенке приставной лестнице, в чердачные полости. Выверяла, заново рисовала кончиком указательного фальшивые колонки последнего этажа и их завитые уши. Терла ладонью фасад – пробуя его на ощупь. (Руст второго этажа она вообще сразу же стерла из здания – как досадную оплошность архитектора.) И потом, бегло проводя подушечками подряд по всем ритмическим единицам: башне, зубцам, оконным эркерам, – как будто проигрывая их музыкальные знаки – слушала их мелодию, – и вновь отправлялась разгуливать по неровностям – гостя на каждом балкончике, заставляя звучать каждую струнку тонкой кованой изгородки, проверяя и ее музыку; как-то запросто втягиваясь через стены, заглядывала изнутри в тройные фонари окон – и звонко чувствовала, каково это – стоять здесь в оконной нише на рассвете – когда только что родившийся свет у тебя и справа, и слева, и прямо перед лицом.

Из соображений гигиенических, она, впрочем, старалась не вчувствоваться в то, какого сорта жильцы в этой крепости живут – и ставила жесткую заслонку воображению, играя с домиками как с существующими в воздухе, вне времени.

Дойдя по вставшему посередке на дыбы бульвару до Склепова переулка, и свернув в него – она, однако, костела не нашла. Вернулась – прошла вглубь еще, внимательно вглядываясь в лица и спины домов по правую руку – ничегошеньки похожего! Неужели перепутала улицу?

Вскинув глаза вверх – как будто ища каких-то дополнительных ориентиров, – никакие розыски она уже продолжать не смогла: войско пепельно-сизых закатных облаков, на огненно-хурмовой подкладке, властно и легко повело ее за собой, на следующий бульвар. Облачка были мелкие, только что створоженные, и разрывы между ними ярко подсвечивались – но все они, очень собранно, в строгой форме, и как будто сотканые между собой льняной нитью, двигались одним станом, гигантским крылом, стягиваясь на запад. Там, на пламенеющем апельсиновом небе, во всем буйстве открывшемся ей уже только с половины Рождественского, с горки, закручена была гигантская, тысячецветная воронка – гнездо солнца, из свитых, выложенных чуть вогнутыми, мягкими кругами, сиреневых, медовых, корольковых, фиолетово-вишневых, сизо-золотых, рельефных лепных облаков – организованных так, чтобы огонь, хлещущий из жерла, с умопомрачительной быстротой менял их оттенки – и разносился ежесекундно во

все концы неба с новыми, нарастающими огненно-цветовыми аккордами, – затягивая в себя взгляд: который, казалось, тоже вливался в бурлящую цветами и музыкой купель и становился частью громогласного закатного представления.

Газово-синяя взвесь, тем временем, каким-то сверхъестественным образом не затрагиваемая метаморфозами гаммы, царившая как бы за кадром, в глубине, за представлением, как бы ничего не подозревая, – придавала всей этой гигантской лепной конструкции поражающий глаз, нереальный, высекающий слезы, объем. И пуховую легкость.

И пока в небе было чему догорать, она не посмела ни отвести взгляд, ни уйти с бульвара, не досмотрев.

– Ну и где ты шлялась, интересно мне знать? Какие-то дела в полдвенадцатого вечера? Счастье, что жива хоть! Я уже в милицию собиралась звонить. Прихожу – на полу веник валяется, пыль ключьями раскидана – думаю, не обворовали ли нас... – Анастасия Савельевна, вопреки надеждам, прискакавшая, не вытерпев, домой с дачи – увы, раньше той минуты, когда Елена осторожно, как какой-то драгоценный сосуд, чтобы не расплескать, внесла себя в квартиру, – теперь, так некстати, ждала от нее какой-то реакции. – Где ты была-то?

Елена старалась хоть на секунду еще растянуть молчание – единственную, казалось, родственную среду, в которой могли выжить переполнявшие ее чувства – которые вместить способно было только небо, эту безмерную, переливающуюся, саму в себе обитавшую, полноту и породившее.

– Что-нибудь случилось? – Анастасия Савельевна, чуть испуганная отсутствием ответа, взглядывала в нее с виноватым уже (за свои напористые расспросы) выражением.

И в эту секунду полнота счастья, казалось, уже выхлестнула через край – и хотелось уже вопить, танцевать, плакать, смеяться, обнимать мать, носиться по квартире, распахивать окна: «Случилось, случилось, случилось!»

Этот вечер она так ярко, за секунду, вспомнила теперь, цветастым сентябрьским днем, когда в окна хлестал дождь, а мать, делая вид, что ее не расслышала, допивала в кухне кофе, присев, бочком, к столу и накручивая кому-то по телефону.

Вмиг вспомнилось и другое, смешное летнее приключение: один из материных учеников, увидевший Елену на августовской студенческой вечеринке (проходившей, разумеется, опять, как всегда, в их многострадальной двухкомнатной малогабаритке – при полном и абсолютнейшем счастье Анастасии Савельевны, которой всех всегда хотелось удочерить и усыновить: «Ну им же хочется спокойно без родителей где-то посидеть!»), попытался потом за Еленой «ухаживать», как старомодно выражалась мать: звонил ей, умоляя «не говорить Анастасии Савельевне», и, с настойчивостью дятла, пытался выманить ее на свидание. Настырность доходила до того, что поклонник (живший где-то в Выхино) – без спросу приехал как-то раз к Соколу, и, звоня из телефонной будки, шантажировал ее тем, что уже проделал такой путь – и неужели она даже не выйдет на секундочку, «просто поговорить». Аргументировал свои притязания студент и еще более наглым и безвкусным, блевотным доводом: «Зачем же такой красоте пропадать – дома сидеть?»

Ощущая себя заложницей собственного чувства такта (неловко, вроде, грубо отшить все-таки – материн ученик), Елена, с мстительной веселостью решила: «Ах так?! Хорошо же, будет у нас день открытых дверей! Пеняй на себя».

И, встретившись с соломенноголовым (как по волосам, так и по начинке) студентом, легко и непринужденно повезла его «гулять» к баптистам – с внутренним хохотом ожидая, что-то он на это все скажет. И особенно комической деталью врезались в ее память катастрофически не вписывавшиеся ни в какие антуражи оттянутые коленки его псевдоадидасовских, кооперативных, треников – когда он, храня гробовое молчание, мелким шагом, провожал ее на обратном пути до метро, – и его вытянувшаяся, напрягшаяся физиономия выглядела очень-очень по-философски. Отвял тут же – как она и ожидала, – и навсегда.

– Мам? Ты слышишь меня? Я поехала, – улыбнувшись дурацкому воспоминанию, повторила Елена еще раз, с полусадистским наслаждением глядя, как у Анастасии Савельевны, кладущей ни с кем не соединившуюся трубку, встающей, и отставляющей на подоконник недопитую чашечку кофе (понявшей, наконец, что насчет журфака дочь не шутит и – даже – вот уже едет в университет, узнавать про подготовительные курсы), – изображается некая паника на лице.

Дочь, танцевавшая в узко-зеркальной прихожей танго с собственной курткой, пытаюсь перехитрить вешалку и выменять у нее хоть немного пространства (вдевалась в рукава, не снимая куртку с плечиков), явно вызвала у Анастасии Савельевны какое-то умиленное раздражение (точнее не скажешь). Справившись с лицом и приняв снисходительную мину, мать вышла из кухни, спокойно пристроила полную ручку, чуть согнутую в локте, вытянув ее вверх, на раму зеркала в коридорчике, другой рукой подбоченилась, и застыла в позе ироничной кариатиды:

– Ты что, не знаешь, чьи дети туда поступают? Без взятки и блата кто ж тебя туда примет! Наивная ты у меня!

Елена, уже выходящая за порог, аккуратно рассчитав размах, хлопнула дверью так, чтобы у матери не осталось никаких неясностей в интонации ответа.

II

То, что рождают слова, натягивать тетиву фраз, преломлять жизнь в книги – это единственное достойное предназначение человека (по крайней мере, того человека, которого она вот уже пятнадцать лет знала – и которого всюду таскала с собой) – в этом у Елены не было никогда ни малейшего сомнения. Она просто знала это – и всё – так же, как по какой-то внутренней, невидимой, но стопроцентно-осязаемой неоспоримости знала прекрасно, что за видимой реальностью скрывается куда более важная (и собственно, единственно реальная) – реальность невидимая, – чувство резонанса которой так остро проснулось в ней с момента молниеносно-кратких гастролей в ее жизни Склепа. Но так же, как этому своему мистическому предчувствию она не могла пока найти никакого воплощения, так же и словесная жизнь была крайне затруднена той катастрофической разницей, которая годами накапливалась между безбрежными внутренними просторами и навязанной узиной традиционных, человеческих, разговоров. И когда сочиняла что-то, то, скорее, жила в этом внутреннем тексте, чем старалась его записать или с кем-то им поделиться.

Высказанные вслух слова, как казалось ей, были наглыми оборванцами – а иногда и даже грязными ворами – по сравнению с царями воображения и внутреннего смысла. И даже тот (нет, не даже – а особенно тот) ликующий летний вечер, когда она, гуляя одна по бульварам, так близко, бронхами, легкими, почувствовала присутствие Вечности (а Анастасия Савельевна тщетно умоляла ее потом, два дня, объяснить, что с ней стряслось), нереализуемо трудно было перелить в словесный иероглиф, произносимый, без боли потери бойцов.

Дневников Елена никогда не вела – считая этот жанр самым лживым и похабным: писать с жантильной ужимкой, как бы для себя, но в расчете на то, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет. И как перевести внутренние слова во внешнюю реальность – эта загадка мучала ее не меньше, чем напряженный поиск источника резонирующих внутри таинственных мистических отзвуков – и, казалось, была с этим поиском как-то органично связана.

Но, так же, как из черного подвала, в котором – так неожиданно – в апреле, во время прогулки со Склепом, очутилась, – столь же внезапно нашелся выход, – так же – верила она – найдутся, рано или поздно, и разгадки. В любом случае – без уверенности в этом, со снедающей ее ежесекундной жаждой немедленных ответов, заставлявшей ее как будто трясти мир вокруг, вытрясая из него подсказки, – двигаться вперед было бы просто невозможно.

Брошюра «вузы Москвы», отпечатанная на туалетной бумаге (правда, чуть-чуть из-за чего-то зеленовато-синеватой), и купленная за копейку в союзпечати на Соколе, у киоскерши, указательный и средний пальцы которой были в черных от газет, резиновых напальчниках, а ноготь большого почему-то был замотан, видимо, от рождения черной изолентой (самой большой поклонницей этой киоскерши была Аня Ганина, как-то раз, с пять минут безуспешно пытавшаяся вымолить у нее «Досуг в Москве». Киоскерша обижалась и клялась, что такую газету с роду не видывала. Аня не сдавалась, уверяла, что газета самая обычная, и что всегда во всех киосках бывает. «А! Дбсух! – поправила, наконец, ее, после всех мольб, смилостивившаяся киоскерша. – Дбсух есть! И сказали бы так сразу, а то – выразаться...»), нещадно выброшена была в помойку после первых же двух страниц. Соблазнительный эпитет «литературный» (на второй странице), эффектно пристегнутый к официозному слову «институт», ничего, кроме спецстоловок союза писателей, распределитовки хавки и жиденских, обобществленных дарованниц в ассоциациях не вызывал. Бедную Эмму Эрдман, в соседнем доме живущую, родители, исключительно из соображений престижа, мечтали пропихнуть, по знакомству, в литературный – хотя Эмма не могла написать ни одного сочинения в школе без мук и ломки отвращения, и страстно мечтала стать врачом на скорой помощи – но родители пеняли ей, что «дедушка – литератор» – считая, что это достаточный повод сломать ей жизнь. Впрочем, формула «литературный институт» вызывала в памяти еще и наглого, нездорово амбициозного, безразмерно толстого, чернявого мальчика, почитавшегося знаменитостью в местном литературном кружке – употреблявшего чрезвычайно часто (и всегда не к месту) слово «однако», и прочие модные в тот сезон словечки, и искренне считавшего, что сальные шутки и болезненный, павианий, серийный интерес к женскому полу – это главное и единственное наследие Пушкина, – и во всем старавшегося кумиру подражать; а седая, малоподвижная, с глазами совы преподавательница, в свою очередь, предлагала всем подражать лубочной лирике шестнадцатилетнего дебелого самородка – и тот охотно, лупясь на девочек, зачитывал вслух очередные вирши; и от омерзения Елена туда больше никогда не пошла. Ассоциацию группового литературного тренинга эффектно замыкал именитый советский поэт – гордость литературного института, лауреат семи или восьми сталинских – и пары ленинских, на десерт, премий, в стихах ритмично и навзрыд призывавший военных вдов быть верными, не сдаваться и ждать любимых – даже если те объявлены погибшими или пропавшими без вести. Анастасия Савельевна, у которой всегда слезой загорались глаза от военной тематики, обожала в юности его стихи и часто декламировала. Декламировала – до тех пор, пока однажды, в институтской еще жизни, вдруг случайно не встретила этого советского певца вечной верности на улице, у ресторана «Прага», с двумя проститутками: слава родной поэзии звонил кому-то из автомата и пьяно орал в трубку: «Я двух девок снял! Сейчас приедем! Жди!»

«Фига с два! Им я горошек жарить точно никогда не доверю! Никаких лит. проституттов!» – яростно и с отвращением подумала Елена и, разодрав, отправила брошюру вузов в ведро.

Журналистика же, как предлог видеть мир (вернее, как Склепова удобная отмазка для дебилов, на их возможные: «А чё это вы на нас зырите-то?!»), как ей казалось, вполне временно подходила.

Журналисткой, впрочем, быть ни в одной из имеющихся в киоске на Соколе газет ей категорически не хотелось. С полгода как уже она каждую среду, перебарывая нечеловеческими усилиями жажду поспать лишние пятнадцать минут, вместо завтрака, под материны причитания, неслась, перед школой к киоску – урвать дефицитные «Московские новости» (привозили всего три штуки). И читала, в основном, исторические подвалы и развороты – с «сенсационными» (не прошло и полвека) материалами о сталинских преступлениях. Настоящей журналистики, от которой бы у нее захватило дух, собственно, не было – а самой актуальной «журналистикой» была архивная история: когда журналисты, по сути, писали сейчас на страницах

газеты то, что их отцы или деды должны были бы сказать и написать сорок пять, пятьдесят лет назад – но не написали и не сказали: не важно, из-за трусости или из-за подлости. Да и эти, сегодняшние, откровения напрямую зависели от того, признал режим уже те или иные просроченные преступления, или нет.

От актуальных же материалов даже этой, несомненно лучшей из всех советских газет, шел такой душок умеренности и аккуратности, настолько явно журналисты осторожничали и колебались вместе с линией партии (и, с деланной безудержностью, расходясь исключительно в рамках разрешенных тем, ни в коем случае не критиковали ни сам корень людоедской системы, ни того, кто нынче эту умеренную, ограниченную «гласность» в рамках системы – вместо свободы – «разрешил») – что ее мечты о вольной карьере увядали быстрее, чем расцвели.

Не соблазняла и моднейшая, под личным покровительством генсека и «перестройщиков» из ЦК находившаяся, лучшая, образцо–во-показательная молодежная программа (музыкальные клипы с вкраплением актуальных политических тем) на телевидении. Главный ведущий – молодой человек с черепаховой архитектурой тяжелой головы (про которого на всю страну было известно, что с советскими карательными органами у него связь практически на кровяном, клеточном уровне: отец был советским шпионом, а дед НКВД-шником), – казался Елене какой-то повзрослевшей реинкарнацией того болезненно тщеславного мальчика из литкружка, – но плюс ко всему, теле-плейбой еще и как будто был зримо очерчен этим контролирующим покровительством цековских наседок: резким и развязным был только вот в тех-то и тех-то темах – а тему эту вот – не тронь. Вот здесь можно рыть носом – а вот здесь нельзя, шаг в сторону – расстрел. И с овечьим энтузиазмом и вдохновеннейшим нарциссизмом и ведущий, и гости послушно паслись, доходчиво изображая развязность, с пафосом отжирая зелень на жестко ограниченной грубым забором крошечной лужайке.

И эта вся какая-то приниженность и системность, всё это согласие молодых, вроде бы, людей, играть внутри системы и по правилам системы, вызывали у Елены просто физическую неприязнь и брезгливость: казалось, даже абсолютное, очевидное пропагандистское советское вранье лучше вот этой вот остороженькой, в рамках лужайки, трусливенькой полуправды.

Все же разговоры о свободе в стране исчерпывались и измерялись для нее лично простой мерой: какая свобода – если, вон, Склепа сожрали и не поперхнулись!

Еще в прошлом году Анастасия Савельевна сразу же повела ее в кино на абуладзево «Покаяние» – Анастасия Савельевна ревела весь фильм (сама Елена мужественно держалась), а на следующий день «сняла с уроков» (по собственному, материнскому, дипломатичному выражению) еще и Эмму Эрдман – то есть предложила ей прогулять школу с Еленой вместе – и повела их на скандальный фильм еще раз – то ли боясь, что «Покаяние» опять снимут с проката, то ли волнуясь: всё ли поняла и прочувствовала дочь. На самых кошмарных, невыносимых сценах Елена, зная, что сейчас произойдет, надолго отводила от экрана взгляд – а Эмма Эрдман сразу умудрялась, почти как страус, особенным, ей одной присущим эквилибристским приемом, нырнуть и зарыть голову, зажмурив глаза и удобно заткнув уши с обеих сторон собственными коленками в полушерстяных колосющихся колготках, сверху засыпав композицию копной своих ярко-рыжих волос.

Однако до сих пор, даже дома, даже на кухне, когда Елена произносила что-нибудь вроде того, что Ленин был вурдалаком и убийцей похлеще Сталина, – мать в ужасе шептала:

– Тише ты! Что ты несешь?! – и почему-то озиралась на закопченные стены в розовый мелкий цветочек.

И этот ее шепоток Елена ненавидела еще больше, чем как-то исподволь зазудевшие материны разговорчики, что хорошо бы ей поступить в «нормальный» институт, поближе к дому, как, вон, многие в школе делают, получить «крепкую» профессию инженера, как все, вон, делают...

Разговоры эти были тем более ненавистными (и тем более буйные взрывы ярости у Елены вызывали), что Елена прекрасно знала личную, материну, всю жизнь затаенную где-то на доньшке сердца, ни на день никуда не исчезающую боль. Когда-то, весной далекого (настолько далекого, что уже почти мифического) тысяча девятьсот пятьдесят шестого года, шестнадцатилетняя Анастасия Савельевна (на фотографиях того времени – легчайшая, с вьющимися длинными локонами – «черными, как вороново крыло», как говорили все вокруг, – с дюймовой талией, красавица, – яркой красоте которой могла позавидовать даже юная Джина Лоллобриджида, удивительно на Анастасию Савельевну похожая – точеные черты лица, чуть раскосые смеющиеся темно-карие глаза и филигранная фигура – на приобретшей чайный оттенок старой открытке, невесть откуда, хранившейся у матери в трюмо, под бигудями, рядом с собственной фотографией) была звездой университетского студенческого театра на Моховой, знаменитой чтицей Блока в студии художественного слова Александра Борисовича Оленина – старого актера и режиссера (настолько старого, что родом был еще из девятнадцатого века, то есть, из совсем другой страны – из настоящей России; корешился в юности с имажинистами и пописывал лирику). Вот уже несколько лет до этого – все старшие классы – Анастасия Савельевна каждый день ездила заниматься на Моховую из своего стылого, дикого Никольского («С одной стороны от нас в бараке жила проститутка, и с другой – тоже. Чуть подальше – парень молодой жил, фронтовик, который ежедневно напивался и, с поленом, гонялся по двору за своей беременной женой, которая высказывала иногда среди ночи на мороз в одной ночной рубашке. Чуть подальше – еще офицеры молодые буянили, дрались. Возвращаться вечером всегда было так страшно!»).

Как-то раз она с аншлагом давала сольные концерты в главном университетском здании, в большом зале – и Александр Борисович Оленин потом, по-стариковски, сентиментально, снял со стены и аккуратно свернул объявление: «Возьмите – эта ваша первая афиша». На ее репетиции (блоковский цикл «Кармен») в студию частенько тайком приходил послушать ее, с заднего ряда, друг Оленина, будущий знаменитый актер Валентин Никулин, тогда еще совсем молоденький («страшный был – зубы торчком!») – и, после репетиции, всегда, вгоняя ее в краску, громогласно восхищался в разговоре с Александром Борисовичем: «Ну откуда в этой девочке такая внутренняя сила! Такая мощь в голосе! Такая выразительность! Такая внутренняя осмысленность, выстраданность каждого слова!»

А как-то раз, в озверевшее, нищее Никольское прислали за ней огромный черный персональный ЗИМ: директор одного из именитых московских заводов, случайно побывавший на ее концерте, умолял приехать прочитать стихи на празднике восьмого марта, – и Анастасии Савельевне рукоплескал, стоя, весь зал, весь рабочий люд.

Было, впрочем, у Анастасии Савельевны в голосе что-то, что пугало Оленина: какой-то пробивавшийся иногда, как бы из-под полы, как бы не ей принадлежавший, зычный, почти левитановский, патетический раскат (что не было странным, если учесть, что и дома, и у соседей, и у всех друзей – всё время на полную громкость орало советское радио). И старомодный Александр Борисович («знаешь, больше всего меня удивляло, что, при том, что он был довольно импозантным мужчиной, он, не стеснясь, носил в холодную погоду под брюками кальсончики, – и матерчатые завязочки от них, белые такие, когда он садился, всегда у него из-под штанин брюк торчали! Но это его почему-то абсолютно не смущало!») вытравливал из любимой ученицы зычную патетику, как только мог: «Лирику вам надо читать! Только лирику! Не злоупотребляйте вашим прекрасным бархатным голосом!» И она читала любовную лирику – да так, что и у Никулина, и у самого Оленина слезы выступали на глазах. Подготовив вместе с ней лирический репертуар ко вступительным в театральное, Оленин был уверен, что такая жемчужина украсит любой театр Москвы.

На вступительных в театральное ее, однако, неожиданно и откровенно несправедливо завалили. Нарвалась на какую-то злобную престарелую завистливую суку. Назидательно посо-

ветовавшую на следующий год приготовить более патриотический репертуар. Анастасия Савельевна не сдавалась: занималась у Оленина с удесятеренным рвением; устроилась, временно, на год, работать по соседству от студенческого театра, в университетскую библиотеку на Моховой. А где-то ближе к весне мать Анастасии Савельевны (бабушка Елены, Глафира) вдруг ни с того ни с сего бухнулась перед ней на колени и зарыдала, и заголосила: «Я через голод с вами в войну прошла! Мне так тяжело было вас в войну и после войны на ноги поднять, выкормить! Я так мечтала, чтобы у тебя была настоящая, крепкая профессия – инженера, чтобы у тебя всегда был надежный кусок хлеба! На коленях прошу тебя – не ходи ты в это театральное! А что будет, если тебя опять зарежут на экзаменах?! Поступи ты в нормальный институт, поближе к дому!»

И Анастасия Савельевна, с идиотизмом русалочки, из-за этого истеричного рёва матери, сломалась. Ткнула пальцем в первый попавшийся институт на Ленинградском проспекте – и обрекла себя на многолетний инженер-экономический советский ад, вымощенный материнскими мольбами, – преисподнюю, где кто-то ее куда-то переводил и направлял, где кто-то ее за что-то поощрял и назначал, перераспределял и повышал. Страшные, непроносимые аббревиатуры, госком-фиго-маго-учеты, статьи, счета, проходили мимо нее с навязчивостью дурного сна – еще с десятков лет после окончания института – где, конечно ж – куда там подумать о душе и о творческой самореализации: выжить бы! Не задохнуться бы! Рожи, окружавшие ее, эти тупые, счастливо вжившиеся в систему тетки (кто-то – уши с длинными серьгами от стены закрытого «почтового ящика», кто-то – ноздри канцелярского стула, а кто-то – рука со скрепками), – в которых Анастасия Савельевна, по широте и наивности сердца, искренне пыталась выискать хоть что-то человеческое, и с которыми даже пыталась дружить, – были из рода той серой, всем всегда довольной, но на всех всегда готовой донести, униженной нежити, которую, по-хорошему-то, Анастасия Савельевна и на бутафорский пушечный выстрел к себе не должна была подпускать. Адский кошмар квартальных отчетов – о предмете, в общем, не существующем, чисто мифологическом: советской экономике – забивал уже и вовсе все поры, и все силы уходило на то, чтобы не увязнуть в этой гнусной топи навечно.

Шизофреничной, сполна шизофреничной жизнью жила в те годы Анастасия Савельевна: жила жизнью театральной, вечерней, наизусть знала все лучшие пьесы, и в каких-то умопомрачительных деталях – биографии всех лучших актеров Москвы, вечерами ехала в «Современник» – неимоверными усилиями раздобыв билеты. А утром – снова шла отдавать непонятно кому гражданский долг в ненавистную, шушукающуюся за спиной, вяжущую свитерки, дерущуюся из-за продуктовых «заказов» контору, убивавшую в ней и ее обычную жизнерадостность, и веру в людей, и веру в возможность каких-либо перемен.

Жизнь драматически изменилась с рождением Елены. Была Елена незаконно рождена, и отчество Анастасия Савельевна ей дала фиктивное – почему-то в честь погибшего в 1919-м в гражданской войне, почти безвестного, двоюродного деда – Георгия. Биологического отца ребенка Анастасия Савельевна даже и по имени-то никогда не упоминала, и сквозь зубы цедила только, что была это история «случайная», что был он брюнетом-иностранцем, большим подлецом и человеком опасным, но что Анастасия Савельевна вовремя это про него поняла и сразу же от него ушла (и Елена каждый раз, когда мать обмалвливалась об этом, даже зримо себе представляла Анастасии-Савельевнину фирменную, покачивающую бедрами, уверенную походку на туфлях с высокими платформами, когда она «уходила»). Известно было также и то, что неприятного и опасного человека этого уже давно нет в живых («Слава Богу!» – как с непосредственной экспрессией прибавляла Анастасия Савельевна), и что умер он не своей, насильственной смертью, «и вообще, не будем об этом!»

Кой-как профилонив декрет, Анастасия Савельевна решила-таки, наконец, крепко плюнуть и на мнимый долг перед матерью (заклучавшийся, как будто, в том, чтобы уродовать свою судьбу и душу), и на очередную трудночитабельную государственную аббревиатуру в трудовой книжке – и уволилась – в никуда. И следующее место карьеры было подобрано

по принципу: чтобы не было никакой карьеры – чтобы просто не умереть с голоду, чтобы работать как можно реже и меньше, и как можно ближе к дому – чтобы всегда суметь прибежать к дочери, с которой нянчилась Глафира. Местом таким стал интернат-пятидневка, куда какие-то моральные уроды-родители, наоборот, старались сбегать своих детей, чтоб практически никогда их не видеть. Бухгалтерский кабинет Анастасии Савельевны располагался на очень-очень низком первом этаже, на высоте настолько ерундовой, что когда Елена научилась самостоятельно ходить, Глафира приводила ее под окошко после прогулки и аккуратно подсаживала своими скрюченными от артрита смуглыми старческими ручками (левый мысок надо было ставить в удобное вентиляционное, кирпичеобразное окошко – а правый – опа! – уже на подоконнике!).

Кабинет выходил окнами на солнечную, всю в трещинах, асфальтовую дорожку и газон за железным забором – и никто не возражал, когда Анастасия Савельевна, никуда не уходя с рабочего места, в погожие деньки краем глаза пасла разгуливающую на воле дочь.

Идиллия, впрочем, быстро закончилась. Во-первых, Анастасия Савельевна, сколь мало бы она на своей «полставке» ни работала, и сколь изолирована от внутренней жизни интерната (со своими вечными «жировками») ни была, однако, очень скоро начала знакомиться с детьми («заклученными», как Анастасия Савельевна их, в шутку, с сочувствием называла – поскольку уходить за территорию интерната, домой, в течение пяти дней они не имели права), а также становилась невольной свидетельницей того, как на них – и без того-то обездоленных и брошенных – орали, нечеловечески, учителя и воспитатели. Неспособная защитить саму себя Анастасия Савельевна, тут, когда при ней обижали кого-то, кто слабее нее, становилась просто фурией – и бросалась в бой – быстро, разумеется, испортив себе отношения со всеми неврастеничками-училками, срывавшими на детях собственные комплексы. Как вскоре выяснилось, макаренковская педагогика была не единственной прелестной деталью в заведении. Зайдя как-то раз в неурочный час в столовую, Анастасия Савельевна с удивлением обнаружила, что повариха в подсобке, с наглейшим отсутствующим взором, укладывает только что привезенное на грузовике для детей мясо – себе в сумку, и рассовывает по еще нескольким заранее заготовленным чьим-то сумкам. В громадный холодильник же, для будущих детских щей, повариха вместо этого закладывала заведомо принесенные кости с мелкими ключьями обжаренного мяса (словом, именно то, что обычно только и продавалось в магазинах, да и то только по праздникам) – в точности соответствующие, очевидно, по весу. Анастасия Савельевна закатила скандал. Повариха, не моргнув глазом, тотчас же предложила взять и ее в долю, дав понять, что ничего тут особенного нет, и что они тут всегда так делали, делают, и делать будут – и что начальство, мол, в курсе. Анастасия Савельевна, едва веря своим глазам и ушам, пошла и закатила скандал директору, завучу – всем, кому могла, потребовав вернуть детям то, что у них воруют. Однако, по какой-то ползучей, зыбучей, болотной реакции, похоже было, что повариха не соврала: кровью свежего мяса помазаны были многие, если не большинство, взрослого, надзирательского, начальского населения интерната. Мясо, ворованное годами, отдавать страх как не хотелось. По субботам (когда многих учащихся смилостивившиеся родители все-таки забирали по домам) поделнички в интернате специально ставили в детское меню в столовке дефицитные банки тушенки и сгущенки – а поскольку ртов оставалось заведомо меньше – преспокойно воровали половину неоткрытых даже банок и уносили домой. «Один раз иду, смотрю: завхозиха из подвала идет, где склад был, и огромный пучок морковки себе домой тащит – с наглой мордой, как будто ничего не происходит – даже и не прячется. Я ей: «Мария Александровна, – говорю, – вы прямо так непринужденно ворованное несете, как будто это ваше! Не совестно – у детей-то?» А она мне в ответ: «Анастасия Савельевна! Вы постыдились бы! Вот я в детском доме до этого работала – вот там воруют так воруют – детям жрать нечего! А вы меня пучком морковки попрекнули! Да нате вам ваш пучок морковки – подавитесь им вместе с детками!» А в коридоре, когда Анастасия Савельевна проходила, то и дело из-за угла

раздавалось: «От, твою мать! Опять эта бухгалтерша идет! Тащи курицу назад!» «Все ведь они, причем, членами партии были! – с детским изумлением, потешалась, рассказывая потом об этом Анастасия Савельевна. – Все без исключения, начиная с директрисы! И кичились этим!»

«Да что я в этом гадюшнике делаю-то?», – в один действительно прекрасный весенний день спросила себя Анастасия Савельевна, поняв, что в одиночку ей славных традиций не переломить, – и, взяла и уволилась уже и оттуда.

И именно в этот, счастливейший день Анастасия Савельевна почувствовала свое второе, после актерского, но не менее подлинное, призвание – преподавать: просто кожей почувствовала, что есть в этом мире кто-то, кому еще более несладко в жизни, чем ей – дети, подростки – те, кто еще не заматерел во всеобщем вранье.

И – неожиданно – Анастасия Савельевна нашла свою сцену. Несусветная галиматья лекций по советской экономике, которые ей приходилось бросать в пасть чудищу государства (единственной съедобной историей – на вкус Елены, приходившей, несколько раз, из любопытства, к Анастасии Савельевне, послушать, с задней парты, лекции, – был вдохновенный, душераздирающий рассказ про тоталитарный способ патентования цветастого стекла на древнем венецианском острове Мурано: чтобы мастера-стеклодувы не рассказали миру секретов производства, их просто-напросто никогда в жизни никуда не выпускали с острова – малая родина, она же тюрьма, сковала их железной рукой, в объятьях, высвободиться из которых можно было, только умерев), была, по меркам матери, более чем приемлемой жертвой за то, чтобы уж в неуточное время, в роли классный руководительницы, брать студентов под крыло, решать всеохватные домашние, сердечные и учебные проблемы, возить их на свежие выставки, на пикники за город, читать им взахлеб стихи, трясти и растрясывать, отогревать и сдвигать с места их души, да еще и постоянно из своей нищенской зарплаты ухитряться давать им деньги взаймы, и, наконец – отжертвовать даже под студенческие сабантуи свою собственную и без того крошечную квартирку – и даже крошечный балкончик, на котором Анастасия Савельевна с нескрываемым удовольствием и сама вместе со студентками покуривала.

Более того, нередко, возвращаясь, скажем, из гостей, от Эммы Эрдман, поздно вечером домой, Елена обнаруживала даже и в своей-то собственной комнате, на своем-то собственном узком диванчике, чью-то спящую девичью кудрявую лохматую башку – а подоспевшая из кухни Анастасия Савельевна осторожно прикрывала дверь:

– Тсс! Там Варя спит. У нее дома проблемы – мать пьет. Я уж оставила ее на сегодня у нас!

Или, в другой раз:

– Там – Аля, влюбилась, дуреха, в козла какого-то – ох, дура-то! Отравиться на прошлой неделе пыталась – еле откачали. Пусть у нас пару дней поживет, ладно? Ей сейчас так тошно всех своих домашних видеть – ты только представь!

Или, попросту:

– Не шуми, там – Светка, ей в Долгопрудный, домой тащиться – так далеко! – а темно же ведь уже на улице, страшно ее отпускать-то!

И Елене приходилось, вздохнув, идти разламывать на три аккуратных части сначала раскладушку – а потом спину – между кадкой с лилией, хромым ломберным столиком с декабристом и батареей центрального отопления в комнате Анастасии Савельевны, – заранее затыкая симметрично мизинцами уши против родного, соседствующего, богатырского, храпа, который непременно, непременно грянет – ровно через четверть минуты после того, как мать приземлится на свой диван и сомкнет очи.

Сегодняшняя, сорокадевятилетняя Анастасия Савельевна была женщиной полненькой, фигуристой, с пухлыми плечами – и полнота эта ее (в сравнении с ее юношескими фотографиями) казалась Елене какой-то защитной броней, нарощенной Анастасией Савельевной инстинктивно, – скафандром, без которого та хрупкая, душа-нараспашку, девочка, неожиданно-низким сильным тембром читающая стихи, попросту бы не выжила, не выдержала бы

всего ужаса мира – не выдюжила бы пройти вот всю эту вот короткую дорожку, от Сокола и до Сокола – от ледяного продуваемого звериного барака – до их всегда жаркой (из-за вечных внесезонных фокусов центрального отопления) двухкомнатной малогабаритки – с остановками на все свои беды, отчаяния и разочарования.

Вьющиеся локоны Анастасии Савельевны, как и прежде, были «черны, как вороново крыло» – и Елена лет до десяти искренне думала, что все люди вокруг красят голову, что так принято – так же, как мазать башмаки гуталином. И только чуть позже узнала, что у Анастасии Савельевны, никогда не умевшей закрываться от чужой боли, никогда не умевшей и не желавшей ставить эмоциональных заслонок, плевать на чужую беду и «переключаться на позитив» – как подленько делают большинство людей вокруг, – уже к тридцати трем годам, к моменту рождения Елены, почти полголовы были седыми. И портретное сходство с самой собой достигать Анастасии Савельевне приходилось басмой и лондаколором.

Сурьмить Анастасии Савельевне никогда не приходилось только черные, царские, высокой дугой изогнутые, всегда как будто чуть удивленные, или над чем-то подтрунивающие, брови. Которые взлетали еще выше, когда она, фигуристо избоченясь и выставив вперед пухленькое плечико, вытянув перед собой как-то по-особому вверх, в воздух, золотистый аистинный хрустальный бокал с шампанским, на вечеринке у старых друзей, бархатистым голосом читала про черную розу в бокале – и все аплодировали, а Елена, мучительно стесняясь, забивалась в самый дальний угол, слыша почему-то в Блоке только стыдную кабацкую цыганщину.

Одевалась Анастасия Савельевна тоже с каким-то внятным, женственным привкусом цыганщины: длинные бархатные юбки вразмёт, нежно-лиловых тонов тонкие батистовые женские рубашки с простроченным, круглым воротничком и фонариками на плечах, бархатные жилетки, всегда – высокие каблукы или танкетка. И обожала украшения – пальцы правой руки унизаны были яркими перстеньками, доставшимися ей, по наследству, от ее бабки – полячки Матильды. А на груди всегда ярко красовались какие-нибудь очередные, очень крупные и яркие бусы или фальшивые жемчужные ожерелья. Елена иногда думала: дай Анастасии Савельевне волю, так, кажется, бряцала бы и откровенно цыганскими монистами.

Анастасия Савельевна умела рыдать навзрыд – а если уж хохотала, то тембром Джельсомино – так, что когда она бывала в гостях, от хохота этого кругом ходуном ходили фужерчики, бокальчики, стопочки – и дребезжали, даже, казалось, все стекла в хрустальных сервантах и окнах. И единственное, чего Анастасия Савельевна никогда не умела – это быть хладнокровной. С хрустальной слезой, звенящей в голосе, Анастасия Савельевна, как будто первый раз (хотя на самом деле – уже тысячный, как минимум) пересказывала дочери присказку, которую давно уже сделала своим жизненным кредо: «Не бойся врагов – в крайнем случае они могут тебя только убить, не бойся друзей – в крайнем случае они могут тебя просто предать, а бойся равнодушных – потому что именно с их молчаливого согласия в мире каждую минуту совершаются все предательства и убийства!»

Как-то раз, весной, года три, что ли, назад, придя из школы домой, Елена увидела, что мать, почему-то с виноватым видом, сидит в кухне на табурете и что-то бережно держит перед собой в пригоршне – и то и дело на ладони дышит. Оказалось, что по пути в институт она подобрала скворчонка – спасла его, вытащила буквально из клюва у атаковавшей его отвратной вороны – и, разумеется, тут же вернулась домой: уже позвонила, отменила уроки, взяла отгул с работы.

– Выпал из гнезда, дурачок, – пояснила Анастасия Савельевна, как будто уже получила от скворчонка объяснительную записку.

И на месяц и три недели началась птичья жизнь. Первый день скворец ничего не ел – и Анастасия Савельевна плясала вокруг него, соблазняла вареным желтком, прижимала феникса к груди, умоляла, рыдала, боясь, что он окоцурится с голоду – но скворец, с убийственно-грустным выражением нежных желтых губ по краям клюва, ни в какую не соглашался признавать

в ней ни кормящую мать, ни даже родственницу. Функции спасательниц разделились: Елена (разумеется, тоже не пошедшая назавтра в школу: «Записку напишем. О-эр-зэ. Как всегда», – нервно согласилась Анастасия Савельевна), обзванивала по справочнику орнитологические станции, ну ровно ничего в птенцах скворца, а уж тем более в драгоценности их жизнью, не понимавшие – и единогласно предложившие немедленно птенца выбросить туда, где нашли и забыть про него «потому что шансов выходить все равно мало». А потом, сгоняв в три ближайших библиотеки, экстремальными рывками зачитывала громким срывающимся голосом справочник по птицам, – а Анастасия Савельевна, рыдая еще больше, но аккуратно, ровно по спешно пересказанным Еленой инструкциям, чтоб не сломать малышу челюсть – за верхнюю, только за верхнюю часть («Мама, сказано же: за верхнюю! Зачем ты ему ногти сбоку в рот суешь!») разевала чужой клюв, и запиховала, закладывала, и умоляла съесть катышки желтка.

Ларчик, впрочем, открывался просто: малец просто недолюбливал яйца. Не желал, видать, с детства стать каннибалом. Как только же Анастасия Савельевна его вниманию предложила жеванные дефицитные молочные сосиски, оставшиеся от майского заказа, он вдруг запомнил про свою ностальгию по гнезду – и уже к следующему вечеру скакал за матерью по полу, неумело, кособоко взлетал, садился на руки, доверчиво разевал рот и ждал жратвы.

Утром, часов в шесть, Елена просыпалась от того, что кто-то крылатый сидел и раскачивался у нее на голове – и не сразу вспомнив, спросони, кто бы это мог быть, вскакивала – скворец спархивал, отчаянно треща и скрежеща, мать прибегала, уже с жеванной сосиской в руке, и ругалась на Елену, что та неаккуратно обращается с ребенком.

Кормить надо было каждый час – в противном случае, как было написано в обеих раздобытых энциклопедиях – скворец моментально бы подох. И очень кстати начались через неделю летние каникулы. Мать бегала по району, зря разыскивая в пустых магазинах хоть запах сосисок. И – спасибо сердобольной соседке, слава сорочьему телеграфу – вовремя, в обеденный перерыв, узнала, что на Таганке (где соседка работала), в гастрономе у метро сосиски «выбросили» – рванула туда, и, отстояв в очереди три с четвертью часа, привезла в клюве добычу. Толкла в ступе, как добрая баба-яга, кальций и витамины. Свежую воду доплескивала в фаянсовую салатницу, в которой скворец с азартом, весело (и крайне неаккуратно) трижды в день принимал душ. Натащила ему со двора громадных ветвей (едва не брёвен), накрыла травой и листьями, устроила в углу целый шалаш – и от каждой новой игрушки пациент был в восторге.

Откормленный, довольный жизнью и уже, прямо сказать, нагловатый скворец, начал авиапарады – и, разогнавшись, вмазывался со всей силы в стену башкой. Жалобно вякал, скрежетел – и падал, еще долго мелодично жалуясь.

– Он уже все книжки твои перечитал! – с умилением рапортовала мать, когда Елена входила в квартиру.

Любимым же видом изобразительного искусства скворца было повсюду, куда можно добраться, расставлять внятные точки над ё.

Скворец жрал уже самостоятельно из блюдечка – и бился, взлетая, обо все вертикали. И становился катастрофически ручным, игривым и разговорчивым, очеловечиваясь в повадках до неприличия. И надо было выпускать, срочно.

Мать снова плакала – сердце опять разрывалось:

– Ну, давай пойдем тогда, прямо сейчас, выпустим его в Покровское-Стрешнево! Там так красиво! Ему там будет хорошо... Только пойдем побыстрее, раз уж решили...

Елена же, обложившись орнитологическими справочниками, изучала стратегию.

– Нет, выпускать сразу нельзя. Написано, что он должен прибиться к своим – единственный шанс, что он выживет в природе. Как ни смешно, здесь уверяют, что он – стайный! – авторитетно охоложивала она жертвенный материн настрой. – Сверчков придется показать ему, как ловить...

И пять недель, каждый день выносили скворца на пленэр – в разоренный княжеский Покровско-Стрешневский парк с прудами. Парк был со сногшибательным талантом загажен; служил раем для пьянчуг и парковых маньяков; последние, впрочем, в будние дни, к счастью, редко появлялись на тропинках – за недостатком благодарных зрителей. И в той части, где усадьба была более разорена, чем загажена – а именно в чаще лиственного леса, царстве бурелома и жухлой, с гнильцой, прошлогодней листвы – иногда даже можно было на прогалинах ранней весной обнаружить матовые светильнички подснежников, на блестящих глянцевых свеже-салатовых стеблях – и в детстве Елены Анастасия Савельевна перво-наперво вела сюда Елену гулять, как только теплело, каждой весной, ревниво обследуя по ходу на деревьях почки: не дай Бог, кто-нибудь увидит свежие липкие листики, или сережки, или еще пуще – цветок – раньше, чем ее дочь. Раньше всех выпускавший буйные украшения американский клен, который все без исключения знакомые москвичи, по ботанической наивности, называли с какого-то бодуна «ясенем», а биологичка Агрипина в школе предлагала уважительно кликать «Асер pegundo», – Анастасия Савельевна, не утруждая память наукообразными названиями, выразительно окрестила вовсе «Размахайками»; а проростки ирисов, да и всех похожих на них ранних гостей, проклевывающих зеленым клювом на газонах, Анастасия Савельевна, умиленно округляя и вытягивая губы, звала попросту «Пикульками». Между верхним и нижним прудом был водопад – оскорбительно закованный зачем-то в подземную трубу и ржавую решетку – и если запустить особую, заметную палочку, в круговорот, сквозь решетку, – а потом быстро-быстро перебежать по перешейку к нижнему пруду, можно было на секундочку увидеть «свою» восточку в водопаде с другой стороны – вспенивавшемся, как будто туда налили шампуню. На солнце же, на высоком длинном бугре перед железной дорогой – которая отделяла замороженный парк от сумасшедшего города – весной нет-нет да и попадались богатства: то ручные светила мать-и-мачехи, распускавшиеся здесь раньше, чем где бы то ни было во вселенной – а то – художник, расставивший на телескопической козеножке мольберт, и удивительно некрасиво копировавший пруды и белый ромбик бумажного змея, запущенный над ними, и золотые, в солнечном лаке, еще не распустившиеся – но готовые выстрелить завтра – ивы над водой; художник стоял, почему-то, неизменно спиной к другой, невесть как уцелевшей, диковинке усадьбы – пристанционной крашеной деревянной галерейке – чуду модернистского узорочья – неумолимо разрушающейся, но в детстве казавшейся Елене, по контрасту с совковой архитектурой, дворцом.

Сюда-то, в глухую разрушенную Стрешневскую роскошь парка, теперь, летом, свою главную драгоценность – скворчонка – гулять и приносили. Дозу разлуки скворцу увеличивали с каждым разом – держа на ладони все ту же жеванную сосиску и выискивая места, где резвятся слетки-скворчата. В парк приносили его в огромной картонной коробке, из-под вина, сворованной за ближайшим гастрономом – Елена ножницами провертела там вентиляционные слуховые окошки – и несла коробку осторожно, обеими руками, прямо перед собой, – но скворчонок каждый раз всё равно в дороге изнывал, свирищал, скандалил – и жалобно высывал в дырки нос, так что однажды накрепко застрял. Поначалу, на открытом – до очумения – воздухе, он боялся всего – и сидел только на руках (или – «в гнезде» – на голове), вцепляясь когтями так, что казалось, останутся дырки в коже, и наотрез отказываясь даже погулять по земле, и только с ужасом прислушивался к аборигенному птичьему весеннему визгу вокруг. Но уже на следующей прогулке скворец важно разгуливал по окрестностям и смешно резко раздвигал как циркуль клюв, сбивая и поднимая таким образом носом листики – и заглядывал под каждый, каждый, каждый листочек, и даже под сигаретные пачки, и даже под винные этикетки, и даже под бумажки от мороженого, и как сумасшедший охотился на каких-то травяных блох – каждый раз, впрочем, минут через пятнадцать веселья на воле, возвращался – и уже отказывался с руки уходить. Отучать его от себя было до слез больно. Но когда под конец этой же недели он стал играть в лапту с другими слетками в стайке и базарить с ними о чем-то на

своем наречье – и сорок минут не обращал на застывших в зачарованном любовании людей никакого внимания – в этом была какая-то отрада. Под конец пятой недели, подождав скворца с обычных игрищ лишние три часа, и не дождавшись, и все еще слыша его голос в белиберде остальных скворечьих голосов, оставив все запасы жеванных сосисок на изрядно вытопанной за все это время полянке рядом с поваленным дубом – они ушли домой.

Нет, положительно, ничего странного не было в том, что Анастасия Савельевна, с ее горячим сердцем, безудержной артистичностью в бурном союзе с детской искренней эмоциональностью, яркой красотой и щедрым каким-то размахом души – за всю жизнь так и не смогла найти себе ровню, равного себе по знаку небесного качества мужчину. Компромиссов Анастасия Савельевна в человеческих отношениях не терпела. К мужчинам была куда более строга и требовательна, чем к скворчатам. И «снисходить» до какого-то ничтожества считала крайним унижением. А никого, кто был бы достоин ее, так за всю жизнь и не встретила.

При этом, то ли из-за пышных, почти скандально откровенных форм Анастасии Савельевны (которые она еще и невольно подчеркивала невероятно женственными, вольными, размашистыми, круглявыми нарядами), то ли из-за ее природной искрометной всепобеждающей веселости и из-за того, что Анастасия Савельевна в любой компании была самой хохочуще-живой, обожала танцевать (иногда даже и на столе – если тот был из материала покрепче) – короче, от поклонников она в буквальном смысле не знала отбою.

И, порой, сиреневым летним вечером, когда после очередной вечеринки у старых материнских друзей, Анастасия Савельевна, напевая что-то, шла по светлому теплему асфальту своей неподражаемой походкой, чуть покачивая бедрами, взметая волны бордового бархата босоножками на высоченных пробковых каблуках – как будто специально созданных, чтобы подчеркнуть ее красивый, уверенный подъем ноги в голени (а Елена, мучительно сжавшись, шла рядом – этой шумной, яркой, чуть пьяненькой матери болезненно стесняясь) – бывало и вовсе трудно отбиться от желающих с бархатной цыганской красоткой познакомиться.

Однако свое одиночество Анастасия Савельевна несла с какой-то звонко-задиристой гордостью, и от предлагавшегося ей (раз двадцать, только на памяти Елены) замужества, да и от любых адюльтеров весело и мастерски увиливала. Вообще, кажется, была Анастасия Савельевна абсолютно счастлива – если б не тоска по несбывшемуся чуду, по недоплощенному дару.

Сердцем Елена прекрасно чувствовала, что если уж кто из виданных ею взрослых людей и прожил – достойно и высоко – сломанную, изувеченную жизнь, – так это мать. Но все-таки, в последнее время, мать из-за своих осторожных разговорчиков – казалась ей хранительницей всего того застоино-соглашательского, покорно-примиренческого, что капканом висит не только на любой душе, а, вон, на целой стране!

«Да как она смеет?! Как у нее язык поворачивается говорить про «инженерство» и про «нормальный» институт?! Хочет меня отправить в ту же яму, в которую и сама, из-за бабушкиной невежественной дури и забитости свалилась! Вот же настоящее убийство – а не что-то другое! Да лучше умру, чем на это соглашусь! – яростно говорила Елена себе под нос. – Да как они все смеют?! – выругиваясь уже на какую-то абстрактную массовку сограждан, продолжала гневный она залп. – Это же твоя уникальная, единственная жизнь! Твоя единственная во всем мире, неповторимая душа! А они все тянут лапы, сволочи!»

Только в эту секунду Елена вдруг внятно ощутила свое тело – тело было катастрофически мокрым, начиная с головы – и прошествовало уже, оказывается, полпути к метро – до самого угла с Ленинградкой. Забыла зонт. Домой возвращаться – ни за что! Надвинув капюшон, она, дрожа от негодования, зашагала дальше к метро – силясь вызвать в себе бесчувствие к потокам живого угрюмого озабоченного фарша, маршировавшего вокруг сразу во всех направлениях, и стараясь не глядеть на мокрые шкурки неповоротливых немых сталинских домов – которым нечем было прикрыться.

III

Дождь уже давно выключили, но с низких карнизов еще звучало гулкое послесловие. Влага, царившая в воздухе, облизывавшая все доступные плоскости, была уже скорее не дождевого, а банного свойства – испарина, а не осадки. «Завтра потеплеет», – подумала она, чуть отступая от невысокого замандражированного желто-пурпурного деревца боярышника, с которого брызнул косой аккорд капель.

Больше всего ее изумляло то, что верхние не догадывались (или брезговали) спрыгнуть на мостовую вниз за ягодами, которые они же сбивали. Блаженно раззябив рот, и наклоняя голову на девяносто градусов, они закрывали глаза от предвкушения яств (и в этом легком подрагивании серебристых век было эхо и звучных капель, и сумерками расплавленного в тумане серебристого молока, которым были залиты улицы) – и промахивались: ягода оказывалась сорванной, но мимо рта – и летела на влажную глинистую землю палисадника – или – отскоком – на черный мокрый асфальт.

Нижние же не испытывали ни малейшего комплекса и шестерили вовсю между женскими каблуками, солдатскими сапогами, стилижными штиблетами – движущимся многоногим кривошипно-шатунным механизмом переулка – воспринимавшимся ими, видимо, просто как навязчивые и небезопасные титры захватывающего дух кино о еде. Многие бордовые боярышники были уже подавлены – и особенно выделялся один наглец-добытчик, с роскошной белой восковицей: бросался под ноги, как только об асфальт стучала очередная ягода, разевал клюв, давился и долбил, пока не склевывал все до остатка, – рискуя, что им самим тем временем вымостят мокрую мостовую. Два инвалида (у одного не было пальцев на правой ноге, второй ковылял культями, связанный черными нитками), вместе с ним внизу орудовавшие, довольствовались растоптанными плюхами, выпустившими желтоватую мякоть и косточки из лопнувшей жесткой бордовой кожуры.

Верхние, между тем, осторожно перебирая пальцами мокрые ветки – чтобы не наколоться на шип – совершали сонные путешествия на край кроны, к новым бордовым созвездиям. Один из них – самый откормленный – наконец, разозлился, выбрал самую крупную и самую крепкую ягодину и (похоже – уже просто от раздражения, без всякой уже утилитарной мечты) долбил ее как боксерскую грушу; отчего деревце тихонько лихорадило.

Елена с трудом заставила себя оторвать взгляд от густонаселенного сизарями боярышника («стемнело ведь почти уже – они как слепухи сейчас спать клюкнутся»), вышла из закоулка палисадника в переулок и, с чувством, что идет на каторгу, через три минуты вывернула уже на Арбат.

Журналист (и, по-видимому, матерый), мальчик неопределенного возраста, с иссохшими длинными сплюснутыми губами и отвратительно шустрым, скорым, хамелеоньим, языком (тик, вернее – тик-так: хоп-хоп языком вправо-влево – как будто быстро слизывает мушек из уголков губ – и – молниеносно – обратно в рот. А потом – меньше чем через минуту – всё по новой. И так без остановки. С антрактами на самодовольные фразы), попавшийся ей под руку на журфаке, прямо на лестнице, вконец испоганил ей настроение:

– Я, – заявил он, чуть напрягая и топорща хамелеоньий же отвисший мешок под подбородком (как будто уже полный сожранных мух), – являюсь преподавателем интересующего тебя шюжа, и по дружбе тебе могу посоветовать: иди набирай эксклюзив о неформалах, иначе в шюж не поступишь. По дружбе говорю: Арбат-неформальный – самая вероятная тема шюжевского вступительного сочинения.

И хамелеонья эта мимика, и трудновыговариваемая, шипящая, пресмыкающаяся (но хотя бы не жалящая, не ядовитая) аббревиатура курсов при журфаке, и молодой человек, с

порога ей «тыкающий» и ни с того ни с сего фальшиво рядящийся ей в друзья – все это моментально напомнило ей все тот же тоскливый школьный террариум.

Посмотрев (издали) на трех унылых озябших портретистов, бомбящих, на Арбате, скорее, зазывалами, наперсточниками, гипнотизерами – чем творцами (за десятку никто себя уродовать позволять не желал; а сейчас за то, чтоб позировать им полчаса на мокром парусиновом поджопнике раскладного стульчика, любой вменяемый прохожий еще и приплатить потребовал бы – да и то, подумав, все-таки прошел бы мимо – как все призрачные, туманные, прохожие, собственно, и делали, – и один из промышленяющих кистью, для заманки решив пуститься во все тяжкие – тайком вытащил и прикрепил кнопками на мольберт, с наружной, выставочной стороны, портрет генсека – у которого то ли от влажности воздуха, то ли от гиперболического старания художника, на лбу расплывалось огромное, гораздо больше, чем даже в природе, родовое пятно, подозрительно похожее на карту Чернобыльского района), Елена повернула в противоположную сторону. Тем более, что все белила (если таковые в палитре у кустарей имелись) уже явно утекли в воздух.

С внезапностью редкого тика незнакомца зажглись фонари: взял врасплох первый вспых. Туман, художник тем более даровитый, что никогда не лабал за деньги, запросто растворил и облагородил собой все цвета и звуки – так, что марганцовочный привкус круглых фонарных плафонов переплавился в нежно-лиловый; желтушный, только что грубо подкрашенный дом – в мягко-капельно-палевый, а синяк соседнего здания – в небезынтересную масляную сиреневость; шаги же, каблучный приступ и башмачное шарканье – всё сделалось как будто гулко капающим, как будто заключенным в округлый коридор, с обтекаемым эхом, – заковав улицу, дома, прохожих в единый законченный, хотя и расплывающийся по движущимся контурам фигур, по влажному воздуху нарисованный, фиолетовато-млечный шедевр.

Двое накачанных коротко стриженных придурков в трениках одиноко танцевали у обочины на куртках то ли гопака, то ли нижний брэйк; двое других накачанных коротко стриженных придурков в трениках с натужным любопытством не без зависти на них смотрели.

Из избушечного киоска с лубочной надписью: «Русь» (откровенно пустого – что явственно следовало из отсутствия очереди), скучая, высунулся огромный детина в белом фартуке с бычьей головой: подпер ее бычьими же ручищами и замер, как будто рекламируя несуществующий товар – либо просто харю проветривая.

«Кто, кто, кто, какой идиот припрётся сюда тусоваться?! – в ярости бормотала она себе под нос, фигурной елочкой переступая по фальшивой, формованной аккуратными бетонными шмоточками брусчатке. – Какой там «неформальный»?! Ах, как чудно. Ах, как мы гордимся. Ах, глядите-ка! За семь десятков лет головорезов у власти режим набрал силенок доказать: де, и в этом сером громадном концлагере могут быть цветные фонари и пестрые недоразрушенные дореволюционные дома! При этом сил хватило только на одну-единственную образцово-показательную улицу в стране. Изысканная месть коммунистов самим же себе: их самих же неудержимо тянет теперь смастырить имитацию – типа, вот поднапружились и сделали улочку примерно, ну очень приблизительно, ну с очень большой, гигантской, космической натяжкой – так, как было до переворота. Зачем расфигачивать тогда, спрашивается, всю страну было?»

Радужный пар изо рта, зрительно накладываясь на фонарную сырую световую взвесь, дарил жизнь особым полупрозрачным октябрьским стрекозам – вспархивавшим, долеплавшим свой стан и слюдяные крылья уже на лету, в воздухе, и фигурно, танцуя, фиолетово улетающим, медленно, не спеша – из уст к близкому небу.

Раздраженно и резко, она села на безспинную скамью и достала блокнот и принялась грызть перьевую ручку. Неформалов в туманном пруду не наблюдалось. Асфальтово сизый волглый шелк неба с фонарными молочно чернильными кляксами от влажности провисал уже аж до самой скамьи.

Она открыла блокнот и вывела: «Капéль каблуков», – поставила синюю точку, обвела ее тройным туманистым ореолом. И со злостью представила, как мать будет сочувственно торжествовать, когда она завалит вступительное сочинение даже на подготовительные курсы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.